I

1676 года в июне месяце в город Чернигов воротился черниговский полковник Василий Кашперович Борковский из Батурина, куда ездил по гетманскому зову для войсковых дел. Полковник ехал в колясе, запряженной четырьмя лошадьми, а по бокам его колясы ехало с каждой стороны по верховому казаку из его собственной полковничьей компании. По мосту, построенному через реку Стрижень, коляса въехала в деревянные ворота с башнею наверху, сделанные в земляном валу, окаймлявшем внутренний город, или замок; бревенчатая стена, шедшая поверх всей окраины вала, носила, с первого взгляда на нее, следы недавней постройки. Удар колокола на башне возвестил о возвращении господина полковника. Коляса въехала в один из дворов неподалеку церкви св. Параскевии, под крыльцо деревянного дома, обсаженного кругом молодыми деревцами, которые были огорожены плетеными круглыми загородками для защиты от скотины. Разом со въездом во двор полковника спешили во двор полковые старшины — обозный, судья и писарь, как только услышали звон на башне, возвещавший о приезде полковника. Полковник вышел из своей колясы, взошел на крыльцо и, подбоченясь по-начальнически, ожидал старшин, скоро шедших по направлению к крыльцу и уже на дороге снимавших шапки. Полковник в ответ на их поклоны чуть приподнял свою шапку, ничего им не сказал, а только смотрел на них и повернулся ко входу в свой дом. Старшины последовали за ним, неся в руках шапки. Выбежавшие из дома служители суетились около колясы и вынимали оттуда дорожные вещи. В сенях встречали полковника члены его семьи: жена, сын и две дочери. Не сказавши ни слова семье, полковник обратился к писарю и сказад:

— Пане писарю! Швидше біжи і пиши універсальні листи до всіх сотників: нехай незабаром з’їздяться до Чернігова з виборними козаками із своїх сотень. Поход буде. Припиши ще: который забариться і не прибуде в термін, той не утече значного військового карання. А вас,

панове суддя і обозний, я покличу. Розговор з вами буде. Пан гетьман ординує наш полк в Задніпре на Дорошенка.

Старшины ушли. Полковник вошел из сеней в просторную комнату, уставленную по окраине стены лавками, покрытыми черною кожею, несколькими креслами с высокими спинками и двумя столами, покрытыми цветными коврами. Служитель снял с него верхнее платье. Тогда полковник поцеловался с женою, потом с детьми, которые, подходя к отцу, прежде кланялись ему до земли, а потом целовали ему руку. Полковник приказал служителю подать трубку и расселся в кресле близ стола.

Полковница, матерая женщина лет за сорок, в парчевом кораблике на голове и в зеленой, вышитой серебром сукне, спросила мужа, не прикажет ли он подать что-нибудь поесть и выпить. Полковник поморщился, сказал, что он на дороге поел, а до ужина недалеко, но потом, подумавши, попросил выпить терновки. Ему подала на подносе вошедшая прислужница. Полковник выпил, поставил серебряную чарку на поднос и спросил жену:

— Був хто у нас без мене?

— Новий воєвода приїздив,— сказала полковница.

— Який же він з виду? — спросил полковник.

— Так собі чоловічок,— отвечала полковница,— не дуже старий, не дуже молодий; лице йому червоне, трохи дзюбане. А хто його зна, що воно таке єсть! Я спитала його: чи гаразд йому домівка здалася; він одвітив, що добра, і зараз почав сам себе вихваляти. "Зо мною,— каже,— уживетесь, бо я чоловік простий, і правдивий, і з душі,— каже,— полюбив народ ваш малоросійський. Дай Бог, щоб ви мене так полюбили, як я вас". Потім почав говорити по-божественному, про

церкви розпитував, хвалив тебе, що усердствуєш божій церкві і храми будуєш.

— Вони,— сказав полковник,— усі такі ласкаві, як до нас приїдуть, а обживуться — так і не такими стануть.

— А я вже,— сказала, переминаясь, полковница,— і про сього прочула не дуже добрую річ.

— Що таке прочула? — спросил напряженно полковник.

— Говорять: через день після того, як сюди приїхав, став допитоваться, які у нас в Чернігові єсть чарівниці, і уже одну, кажуть, приводили до його стрільці москалі із тих, що тут зоставались після прежнього воєводи.

Полковник не отвечал на это ничего, как будто не слыхал того, о чем сообщала ему жена, и завел речь о другом, сообщил, что их полк посылают вместе с другими на Дорошенка понуждать его, чтоб ехал, по данному прежде обещанию, на левый берег Днепра слагать с себя гетманский сан перед князем Ромодановским и гетманом Иваном Самойловичем. Полковник изъявил сожаление, что ему не дают времени строить предпринятые здания в Чернигове и беспрестанно отрывают по другим делам. Борковский был большой охотник строиться. Много церковных зданий в Чернигове обязаны ему поправками, прибавками, а иные — появлением на свет. И теперь был он озабочен постройкою братской трапезы в Елецком монастыре, поручал в свое предполагавшееся отсутствие жене наблюдать за начатым делом, вести переговоры с штукатурами и малярами и приказывал ей во всем поступать с совета отца архимандрита Иоанникия Голятовского. Во время этой беседы с женою дети находились здесь же и стояли почтительно у стены: хотя сыну пошел уже двадцатый год, а одной из дочерей — семнадцатый, но они без воли отцовской не смели сесть в присутствии родителя и завести речь с ним, прежде чем он сам за чем-

нибудь к ним обратится. С самой женой Борковский хотя был любезен, но постоянно серьезен, и жена, применяясь к его нраву, говорила с ним так, что готова была только исполнять то, что он придумает и ей укажет.

Во время беседы полковника с женою вошел служитель и доложил, что идет новоприбывший в Чернигов воевода. Полковник тотчас встал и пошел к дверям, в которые входил гость. Это был краснощекий, с небольшою круглою русою бородкою, невысокорослый человек, одетый в бархатный кафтан голубого цвета с большим стоячим воротником, вышитым золотом. Кафтан был застегнут на все пуговицы, серебряные, грушевидные, с прорезью. Воевода нес в руке шапку, сделанную наподобие колпака. Его звали Тимофей Васильевич Чоглоков. Осклабляясь, он поклонился полковнику, касаясь пальцами до земли, и сказал:

— Земно и низко кланяюсь высокочтимому господину полковнику! Я новый черниговский воевода, недавно прибыл в ваш город по указу царскому на уряд. Челом бьем и усердно просим любить нас и жаловать и быть к нам во всех делах милостивцем!

И воевода еще раз поклонился, коснувшись пальцами одной руки до помоста.

— И к нам, недостойным царским слугам и подножкам царского престола, просим быть милостивцем и теплым заступником перед царским пресветлым величеством,— сказал полковник, также кланяясь. — Се моя господиня,— прибавил Борковский, подводя к воеводе жену,— а се мої діти, їх же ми даде Бог!

— С боярынею твоею видались мы,— сказал, осклабляясь, воевода.— Как приехал я в Чернигов — первым делом было идти и тебе поклониться, а твоей вельможности тут не было, так я господыню твою милостивую видел и челом ей побил!

Воевода, кланяясь в пояс полковнице и детям, бросил мимоходом на старшую дочь Борковского такой взгляд, в котором опытному наблюдателю можно было отгадать впечатление, какое невольно производит на записного женолюбца вид каждого смазливого женского личика.

Жена и дети вышли. Полковник усадил воеводу в кресло и начал с ним разговор. Немного спустя вышедшая за двери пани Борковская ворочалась снова в сопровождении служанки, которая несла на серебряном подносе графин с водкою и варенье. Полковница просила воеводу отведать ее хозяйственного приготовления, так как она сама наливала водку на ягоды и сама варила варенье.

Воевода, выпивши, по обычаю поцеловался с хозяйкою, потом, обратясь к хозяину, сказал:

— Воистину, видимо, благословение божие на доме твоей вельможности! Жена твоя яко лоза плодовитая и дети твои яко гроздие вокруг трапезы твоея!

— А у твоей милости, господин воевода, с собою здесь хозяйка? — спросил полковник.

— Нету,— отвечал воевода,— молодым было родители меня женили, да жена, проживши со мною три года, померла.

— Что ж? Господин воевода еще не стар. Может быть, пошлет Бог другую супружницу,— сказал полковник.

— Я тебе доложу, господин вельможный полковник, вот как,— говорил с многозначительным постным выражением лица воевода,— я точно еще не стар, да познал тщету земного жития. О душевном спасении хочу мыслить, а не о телесных сластех.

Полковник бросил жене недоверчивый взгляд и спросил воеводу:

— Твоя милость у нас в гетманщине перво на воеводстве или были прежде еще в каком нашем городе?

— В малороссийских городах пришлось быть в первый раз у вас в Чернигове на воеводстве, а в слободских полках был воеводою в Харьковском полку в городе Чугуєве; там немного узнал я ваших людей. И скажу твоей вельможности по душе: так полюбил ваш народ, что жалею, зачем не родился вашим человеком! Такие у вас добрые, богоугодные люди, от них же первый и найлучший господин полковник черниговский: об нем далеко слава идет. И в Москве все говорят про то, как он усердствует о благолепии церквей божиих и как ко всему священному делу навычен и охочен.

— Я последний и найхудейший от многих,— сказал Борковский.— Трудимось в поте лица своего, по божией воле, да в день судный заступление имамы от пресвятыя богородицы.

— Был я,— говорил воевода,— у преосвященного Лазаря, и у отца архимандрита Иоанникия, и у отца игумена Зосимы. Какие это честные особы! Какие умные, сведущие философы! Истинно у нас в московской земле таких не сыщешь, хоть всю землю исходи. И они в един глас про вельможность твою доброе слово говорят да величают честность твою.

— Держимость на свете молитвами оных богоугодных мужей! — сказал Борковский.

Вошел полковой писарь с бумагами.

— Уже написано? — сказал полковник.— То добро— бо к спіху надобно! Всім сотникам?

— Всім,— отвечал писарь.

Полковник закричал, чтоб ему подали каламарь, и подписал один за другим шестнадцать приказов сотникам Черниговского полка. Писарь, забравши бумаги, ушел. Вслед за тем служитель доложил, что у крыльца дожидается сотник черниговской сотни. Борковский приказал позвать его.

Вошел молодой, лет тридцати, мужчина, статный, белолицый, черноусый, с высоким открытым лбом, с большими глазами. Это был тогдашний сотник черниговской полковой сотни Булавка. Поклонившись полковнику, он обвел большими глазами вокруг себя и на мгновение остановил их на госте, как будто желая спросить полковника: можно ли при нем говорить о том, за чем пришел; потом, успокоившись от раздумья, начал полковнику говорить:

— Вашої вельможності прийшов спитать: будеть поход, які зараз прийшов лист от твоєї вельможності; чи можна мені оставить в городі і не брать в поход швагра мого, козака Молявку-Многопеняжного, бо він заручився і йому треба весілля грать?

— Того ніяк не можна! — сказал строго полковник.— Коли твого швагра зоставить задля весілля, то другі козаки почнуть собі просити, аби їх зоставили. Хто задля весілля, хто задля похорон, а хто вигада собі інше що-небудь... Не позволю: не прохай! Нехай твій швагер підожде; вернеться з походу — тоді і весілля справить. Де твій швагер заручився?

— У козака Пилипа Куса,— сказал сотник.— Одиниця дочка у батька. Коли жодною мірою не можна зоставить мого швагра, так чи не можна тепер, у Петрівку, повінчать його, а весілля справлять тоді вже, як Бог дасть з походу вернуться?

— То вже не наше козацьке діло, а церковне,— сказал полковник.— Нехай просить владичного розрішення у преосвященного Лазаря, а я, полковник, од себе противності не маю. Нехай собі вінчаються, коли

владика дозволить. Тільки ми в похід виступаєм в неділю, а післязавтра субота. Швагер твій мусить бути в поході.

— Как? Разве это у вас можно? — заметил воєвода.— Вы, кажись, православного закона! Как же это? В Петров пост свадьбу праздновать?

Полковник отвечал:

— Власне, забороняється в постни дні свадебное пиршество — весільна гулянка, по-нашому,— а щоб совершить обряд церковний — на те потрібно тільки розрішення архієрея; аще архієрей знає, що праздника весільного і гулянки в піст не буде, то й розрішить. У нас, господин воєвода, такий єсть обичай од дідів і прадідів, що муж з жоною сожительствують і уважаються перед всім світом у брачному союзі, або, як у нас говориться, в малженстві, тільки з того часу, як справиться весілля у молодої і молодого, по нашому звичаю, як воно ведеться в народі нашім, а до тієї пори молода ходить як дівиця і головою світить, і ніхто її за мужатую невісту не уважає, аж поки на весіллі не покриють. Тим-то у нас архієрей можеть розрішити вінчання у піст, аби тільки знав, що до кінця посту не будуть справовати весілля.

В продолжение этой объяснительной речи сотник Булавка стоял, потупивши голову, но изредка с любопытством бросал взгляды на воеводу, а тот жадно слушал полковника.

— Странные для нас, русских московских людей, дела рассказываешь ты, господин полковник,— сказал воевода.— Такого ничего не делается у нас, в московской земле. Однако и то справедливо говорят добрые люди: что город — то норов, что край — то свой обычай. Греха тут, я думаю, нет. У вас исстари так повелось, а у нас не так, а вера у нас все-таки одна остается, хоть, видишь, вон что у вас архиереи разрешают, а у нас никто к архиерею об этом и просить не посмеет пойти. У вас,— прибавил он, обращаясь не к хозяину, а к сотнику,— и при венчанье, может быть, такое творится, чего у нас нет?

— Не знаю,— отвечал Булавка,— я в Московщині не бував і не бачив, як у вас там діється.

— Непременно пойду в церковь, как будет венчаться казак, шурин этого сотника,— говорил воевода, обращаясь к Борковскому.— Прикажи, господин полковник, меня известить, я пойду!

— Сам с твоею милостию пойду! — сказал Борковский.

Сотник хотел уходить, но полковник приказал ему остаться. Воевода понял, что полковник имеет сказать сотнику нечто наедине, попрощался с хозяином и, провожаемый им в сени, ушел в свой двор, отстоявший от полковничьего саженях во ста.

Воротившись опять в комнату, Борковский сказал:

— Пане сотнику! Узнай ти мені, яку се чарівницю кликав до себе сей воєвода, як кажуть.

— Мені узнавать сього не приходиться, вельможний пане,— сказал Булавка,— бо я вже знаю. Приходила до його Феська Білобочиха, а приводив її стрілець Лозов Якушка. А за чим єї звано, того не знаю.

— Поклич єї зараз до себе, а як прийде — пришли з козаками вартовими до мене,— сказал полковник.

Сотник быстро ушел. Борковский велел позвать обозного, судью и писаря, разговаривал с ними о делах полковых и о походе. Наконец служитель доложил, что казаки привели бабу Белобочиху.

Обозный, судья и писарь при этом имени разом засмеялись.

— Що ви, панове, смієтесь? — сказал со строгим видом полковник.

Судья сказал:

— Вибачай, вельможний пане, либонь, яка справа точиться соромотна. Баба та Білобочиха відома сводниця в Чернігові!

— Еге ж! Добре, панове, .що ви лучились,— сказал Борковский.— Увійдіте у другий покой і слухайте там, що стане казать мені ся Білобочиха.

Обозный, судья и писарь вошли по указанию хозяина в другую комнату, следовавшую за тою, где происходила беседа. Ввели казаки бабу Белобочиху. То была низкорослая, с короткою шеею женщина лет пятидесяти, с маленькими, простодушными и вместе лукавыми глазками.

Полковник подошел прямо к ней с очень строгим и суровым видом и сказал:

— Бабо! чаклуєш! чарівничуєш! людям шкоди робиш! Ось я тебе пошлю до владики, щоб на тебе епітем’ю наложив да в монастир на працю заслав років на два або й надовше.

— Я нікому шкоди не діяла! — говорила баба, перекачивая голову и отважно глядя на полковника.— А коли хто покличе пособити в якій болісті, то не одмовляюсь, і твоя милость коли позовеш, то прийду і все подію, що можна і як Бог пособить.

— Брешеш! — сказал полковник.— Чого ти ходила до воєводи?

— А прислав звать, тим і ходила,— сказала Белобочиха.

— А по віщо прислав за тобою? Чого од тебе хотів? — спрашивал полковник.

— Та,— запинаясь, говорила баба,— казав про свою якусь хворобу, а я таки гаразд не второпала, що він там по-московськи мені казав; я йому одвітила: "Нічого не знаю". Да й пішла од його.

— Брешеш, бабо! — сказал полковник.— Не за тим тебе звано, не те воєвода казав тобі, не такий ти йому одвіт дала. Ей, козаки! — обратился полковник к тем казакам, которые привели Белобочиху.— Виведіть сю бабу на двір да й сполосуйте їй спину дротянкою-нагайкою.

— Пане вельможний! — вскричала Феська.— Я не стану доводить себе до нагайки. Скажу й без неї. Воєвода питав мене, чи не можна добуть йому дівчину красовиту: "Бо,— каже,— одинокий я чоловік, скушно спати". Таку, каже, дівку, щоб до його уніч ходила.

— А ти йому що на те сказала? — спросил полковник.

— Я сказала, не знаю... За таке діло ніколи не бралась! — отвечала Белобочиха.

— Брехня! Не те йому ти одвітила! — сказал Белобочихе полковник, потом, обращаясь к казакам, присовокупил: — Покропить їй нагайками плечі!

— Пане вельможний! — закричала Белобочиха.— Змилуйся! Всю правду скажу, тільки не виказуйте мене воєводі; він мене тоді з світа зжене, бо він звелів нікому того не виявляти, що мені казав.

— Моє полковницьке слово, що не скажу,— отвечал полковник,— і бити не буду, аби тільки правду сказала. Говори, да не тайся! Що одвітила? На яку дівку указала?

— Отже, всю правду повідаю,— сказала Феська.— Питав мене воєвода: яка тут у Чернігові красовитіша дівка? А я йому сказала, що як на моє око, так нема кращої над Ганну Кусівну, що отсе, як кажуть,

просватана за козака Молявку. А воєвода каже: "Где би мені її увидить?" А я йому кажу: "А де ж? У церкві". А він казав, щоб я узнала, у якій церкві буде та дівчина, так він туди піде, щоб її повидати. От і все. Більш розмови у мене з воєводою не було. От вам хрест святий! — и Феська перекрестилась.

Полковник, разговаривая с кем бы то ни было, по выражению глаз и звуку речи отлично умел узнавать, правду ли ему говорят или ложь. На этот раз он заметил, что Белобочиха не лжет, и от ней он более ничего не добивался, потому и отпустил. Феська убежала во всю старческую прыть, довольная тем, что избавилась от грозившей ее плечам дротянки.

— Чули, панове? — спросил полковник вышедших из другого покоя старшин.

— Чули, все чули! — был ответ.

— Так мовчіть поки до часу, а як час прийде, тоді ми заговорим, і, може, пригодиться те, що тепер чули!

II

Много цветов в садах зажиточных казаков, а между цветами нет ни одного такого, как роза. Ни крещатый барвинок, ни пахучий василек — ничто не сравнится, как говорит народная песня, с этой розою, превосходною, прекраснейшею розою. Вот так же: много красных девиц в городе Чернигове, и ни одна из них не сравнится с Ганною Кусивною — дочерью казака Пилипа Куса. Много писателей восхваляло в своих описаниях красоту женскую, так много, что если бы собрать все, что написано было в разных краях и на разных языках о женской красоте, то никакого царского дворца недостало бы для помещения всего, написанного по этой части. Но, правду сказать, если б стало возможности прочитать все написанное о женской красоте, то едва ли

много оказалось бы там такого, что было бы выше одной истинной красавицы, существующей не в книгах, а в природе.

По этой-то причине мы не станем изображать красоты Ганны Кусивны, а скажем только, что в течение трех лет оного времени в Чернигове кого бы ни спросили, кто из девиц черниговских всех красивее, все водно сказали бы, что нет красивее Ганны Кусивны; не сказал бы разве тот, кто уже полюбил другую девицу, так как всегда для влюбленного никакая особа женского пола не кажется прекраснее предмета его любви. Само собою разумеется, много было желавших получить ее себе в подруги жизни,— и как же должен был казаться счастливым тот, кому обещала красавица свое сердце! Эта завидная для многих доля выпала казаку Яцьку Феськовичу Молявке-Многопеняжному.

Ходит красавица в своем рутяном садочку, молодец подстилается к ней пахучим васильком, крещатым барвинком, ясным соколом пробирается молодец сквозь калиновые ветви, поймать хочет пташку-певунью, унести ее в свое теплое гнездышко. Вот сквозь ветви зеленых дерев блестит полуночное небо с бесчисленными звездами, всходит ясный месяц, и полюбилась ему одна звездочка паче прочих,— и месяц гоняется за нею, хочет схватить звездочку в свои объятия. А молодец Яцько Молявка-Многопеняжный посреди многих девиц черниговских полюбил паче всех прекрасную Ганну Кусивну и хочет ввести ее хозяйкою под свой домашний кров.

А в хате казака Пилипа Куса при свете лампады сидит пожилая Кусиха со свахою и с молодою дочерью Ганною. Они дожидаются старого хозяина казака Куса с его молодым нареченным зятем; вместе отправились они к владыке Лазарю Барановичу и воротятся с приговором судьбе Ганны Кусивны. С нетерпением мать и дочь прислушиваются к каждому звуку за окнами, за стенами хаты, на дворе и на улице, мало говорят между собою — все только слушают. Вот, наконец, заскрипели ворота, кто-то въехал во двор. Ганна бросается к

окну, вглядывается во двор, озаренный лунным светом, и в тревоге восклицает:

— Матінко, се наші!

Вошли в хату казак Пилип Кус и казак Яцько Молявка-Многопеняжный.

Познакомимся теперь с обоими поодиночке.

Пилип Кус был казак лет сорока с лишком, плечистый, белокурый, с лысиной на передней части лба; в его волосах чуть пробивалась седина. По отсутствию морщин на лице и по веселым, спокойным глазам проницательный наблюдатель мог понять, что жизнь этого человека проходила без больших потрясений и без крупных несчастий. В самом деле, за исключением немногих неприятностей, без которых вообще не обойдется земное бытие, этому человеку выпала такая доля, какую в тогдашней казацкой Украине мог иметь далеко не всякий казак. Родился Кус в Чернигове, где и теперь проживал, родился в семье не очень богатой и не очень бедной: у Кусова отца, как и у Кусова деда, всегда было что съесть, и выпить, и во что одеться, и нищему подать Христа ради. И у нашего Куса жизнь повелась точно так же. Раза три приходилось ему ходить в поход с прочими казаками своего полка, но ранен он не был ни разу; только навела было на него скорбь смерть его тестя, казака Мурмыла, убитого в схватке с поляками. Но ведь это что за несчастье в казацком быту, когда каждый казак с детства привыкает к мысли потерять в бою кого-нибудь из близких или самому положить голову! Пилип женился лет двадцати от роду, взял в приданое за женою кусок земли в седневской сотне дней в тридцать и жил с женою в полном согласии. У него, кроме жениной земли, был в верстах в осьми от Чернигова еще и отцовский участок с рощею, где стояла его пасека, и было у Куса довольно земли, так что Кус землю свою отдавал другим с половины. У Кусов было четверо детей, но трое умерли в младенчестве; уцелело четвертое дитя, дочка Ганна, которую теперь собирались родители отдавать замуж.

Жених Ганны Кусивны происходил от предков не из казацкого рода и был захожим человеком в Чернигове. Дед его, Федор Молявка, жил в Браславе и отдавал деньги в рост; за это какой-то дьячок приложил ему кличку Многопеняжный, и такая кличка привилась к его роду. Сыновья Федора наследовали, вместе с этой кличкой, любовь к отцовскому промыслу и возбуждали своею алчностию слух о несметном своем богатстве. Казацкий гетман Павло Тетеря, нуждаясь в деньгах, прицепился к одному из них, Феську Федоренку, требовал от него денег; Фесько, расставшись поневоле с тем, чего нельзя было укрыть, клялся всеми святыми, что у него более ничего нет, но Тетеря подверг его пытке, от которой Фесько и умер. Скоро, однако, Тетеря был разбит Дроздом и выгнан из Украины. Но Дрозду нужны были деньги, так же как и Тетере, и Дрозд принялся за вдову Феська, взмылил ей спину нагайками, допрашивая, куда запрятаны у ней мужнины деньги, не добился признания и посадил ее в тюрьму.

Через месяц после того Дрозд был разбит Дорошенком, отведен в Чигирин и там расстрелян. Вдова Феська освободилась из тюрьмы, но опасалась, чтоб и Дорошенко не стал делать с нею того же, что делали Дрозд и Тетеря; она поспешила выкопать из-под земли зарытые мужем червонцы и вместе с сыном и дочерью ушла на левую сторону Днепра. Два брата Феська еще прежде перебрались туда с женами и где-то поселились в слободских полках, куда, как в обетованную землю, стремились тогда переселенцы с правого берега Днепра. Вдова Феська Молявки-Многопеняжного не пошла слишком далеко искать новоселья, а по совету родных своих приютилась в Чернигове, выпросила себе место для двора и там построилась, как следовало. Дочь ее вышла замуж за Булавку, который потом сделан был сотником черниговской полковой сотни, а сын, который был моложе сестры своей несколькими годами, отдан был в обучение чтению и письму, а потом записан в казаки.

Грамотность была далеко не повсеместна между казаками, однако уже уважалась, и Молявка-Многопеняжный через то уже, что умел читать и писать, мог надеяться повышений в казацкой службе. Ему был

двадцать второй год отроду, когда он увидал Ганну Кусивну и задумал на ней жениться. Яцько был под пару Ганне — чернобровый, кудрявый, становитый, писаный красавец и не беден, как говорили; кроме двора, у него никакой недвижимости в Чернигове не значилось, но слухи носились, что у его матери были деньги, а сколько было денег примерно, того не говорил никто, и сам сын не в состоянии был сказать. Несчастия, перенесенные его матерью из-за денег, сделали ее скупою и скрытною. Кто бы с нею не заводил разговор, она первым делом хныкала и жаловалась на сиротство, беспомощность и бедность и каждому рассказывала, как у ее мужа отнял деньги и самого замучил Тетеря.

Когда сын объявил матери, что замыслил жениться, мать сперва не слишком желательно приняла эту новость, но не стала сыну перечить, когда узнала, что Кус — казак не бедный и дочь у него единственная. Мать Молявки-Многопеняжного отправилась в гости к Кусихе и скоро сошлись с нею; всегда веселая, спокойная, добродушная Кусиха хоть кого могла привязать к себе. Обе старухи были вместе, когда Кус и Молявка-Многопеняжный вошли в хату.

— Ану, що? — спрашивала бойкая, словоохотливая и привередливая Кусиха.— Чи з перцем, чи з маком?

— По-нашому сталось. Чого ходили, те і добули! — сказал торжествующим тоном Кус.— А чи з усім по душі те буде нашому коханому зятеві, про те його вже спитайте.

— Не оставляють весілля грать? — спрашивала Молявчиха-Многопеняжная.

— Нізащо! — сказал Яцько.— Полковник аж розсердився, грізно глянув на мене і проговорив: "Коли станете докучать, то не дозволю тобі і ожениться".

— Ну як-таки він не дозволить? Де такий закон єсть, щоб не дозволив жениться полковник козакові? — говорила мать.

— З панством не зволодаєш,— сказал Молявка.— Що каже панство, нам те й робити, бо як не послухаєш, то що з того буде? Тоді хоч зарані п’ятами накивати треба, а коли на місті зостанешся під панським регементом, то пан коли не тим, то другим тебе дошкуля! От і мені так: "Ти,— каже,— в виборі стоїш записаний"! А я кажу: "Се коли твоей милості ласка буде, так вельможний пан може..." — і не договорюю, тільки кланяюсь низько. А він зупинив мене та й каже: "Що може вельможний пан, про те не тобі розважати, бо єси ще молодий, а вельможному панові те не подобається, щоб ти зоставався тут, а хоче пан, щоб ти з іншими вибірними йшов у поход!" А що ж? Має свою рацію. Скачи, враже, як пан каже!

— Правда то правда, сину! — подхватил Кус.— Подначаліне діло наше. Повинні-сьмо слухати владзи. От, прикладом, хоч би і я! Мене вже давно не вписують у вибори, а здумалось би так панству, сказали б: "Йди, Кусе",— і Кус чи хоче, чи не хоче, а мусить йти.

Молявка подсел к невесте и начал с нею говорить почти шепотом, так что другим не слышно было речей его. Невеста, слушая его речи, то улыбалась, то кивала одобрительно головою. Впрочем, если б и можно было слышать их разговор между собою, то передавать на бумагу разговоры между женихом и невестою довольно трудно. Бывает в таких разговорах бессвязица, а они все-таки бывают кстати и доставляют приятность тем, которые их ведут. Кусиха вышла из хаты, потом воротилась уже в сопровождении наймички; обе несли скатерть, оловянные тарелки, ножи, ложки, хлеб и водку в склянице. Послали скатерть, поставили на ней пляшку с водкой и положили хлеб. Тогда наймичка вышла в другую хату, находившуюся через сени, в которой обыкновенно топилась печь и готовилась єства, а хозяйка просила всех садиться за ужин, сама же из шкафа, стоявшего направо от порога, вынула серебряные чарки и поставила на столе.

Выпили по чарке настойки, заели хлебом и оселедцем. Наймичка внесла большую оловянную мису с рыбною ухою, потом ушла снова и воротилась с оловянным блюдом, на котором лежали жареные караси, а молодая Кусивна, пошедши в чулан, находившийся в сенях, принесла оттуда деревянный складень с сотовым медом. Затем наймичка внесла на оловянной мисе целую гору оладий и ушла. Наймичка сама не садилась за стол: работники прежде вечеряли сами, потому что хозяева в этот день собрались ужинать позже обыкновенного.

— Коли ж їх вінчатимуть? — спрашивала Молявчиха.

— Післязавтра в неділю,— сказал Кус.— Як одійде рання служба у святого Спаса. Владика проказав нам науку, як треба жити, да вже так дуже письменно й ладно, що ми не дуже-то і второпали; не знаю, як зятенко, а я, грішний чоловік, нічого до пуття не зрозумів з того, що він казав. Чув тільки про якийсь виноград, да про лозу, да про якогось там жениха і дів мудрих і буїх: хто його зна, до чого воно там у них приходиться! А от що, так уже ми добре зрозуміли, так добре: щоб, казав, молоді, повінчавшись, зараз, вийшовши з церкви, розійшлись і не сходились одно з другим, аж поки піст сей не скончиться. Піде, каже, молодець у поход на царську службу: коли, Бог дасть, живий і здоровий вернеться, тоді нехай уступає в сожитіє і весілля по вашому обичаю собі отправите. А тепер, говорить, не можна, і щоб не було у вас ні музики, ні танців, ні пісень.

— Се все ченці видумали,— заметила Кусиха,— щоб і у Петрівку гріх був навіть співати! Але ж дівчата на улицях коли ж і співають, як не у Петрівку. Преосвященний сам чує, сидячи в своєму монастирі, як вони співають. Чому ж не увійме їх? Хіба на улиці менш гріха співати, ніж весілля справлять?

— На все свій час положено законом,— сказал Кус.— Вони люди розумні і вченії: усе знають — за що од Бога гріх, а за що нема гріха. Нам тільки слухать їх і чинить, як вони велять.

— Істинно розумно і премудро говорить сват! — сказала мать жениха.— Що воно єсть весілля, так се тільки люди повидумували, щоб гуляти да тратитись. Настоящего пуття з того немає. Повінчались — і всьому кінець. То божий закон, а що весілля — то витребеньки!

— Як можна, свашенько! — сказала Кусиха.— Од дідів і прадідів Бог зна з якого часу то повелось, і того змінять не можна. Да і що б то за життя наше було, якби весілля не було! Один раз молоді поберуться між собою, у їх тоді як би весна! От як по весні вся твар заворушиться і так стане хороше і весело, що і старі неначе помолодшають; от так же як молода людина з другою молодою зійдуться і спаруються, тоді і нам, старим, стане якось весело, аж дух радується, коли на їх дивишся, і старі наші кості розімнуться, і спом’янемо свої літа молодії.

— Аже ж і владика не казав, що веселиться не треба овсі, а казав тільки, щоб у Петрівки весілля не справляти, бо єсть піст,— заметил Кус, — а владика тут же прибавив: "Коли минуть Петрівки, тоді,— каже,— справляйте собі весілля по вашому звичаю". А до мене владика так промовив: "Повінчаються діти, ти, старий, бери дочку за руку, веди з церкви додому й держи за приглядом, аж поки зять твій з походу не вернеться, щоб часом не звонпила і дівоцтва свого не втеряла".

— Наша Ганна не таківська,— сказала Кусиха,— і преже ніхто про неї не смів недоброго слова промовить, худої слави боялась,— а тепер, коли жених є, то вона буде його дожидати і об нім тільки думатиме, а більш ні об чім.

— А вже,— сказала Молявчиха,— коли б тільки Яцько вернувся з того походу щасливо, то ліпшої пари йому би і не найти. Тільки — всі ми під Богом. Буває часом і так: повінчались, побрались, тільки б жити, да поживати, да добра наживати, а тут...

— А тут,— перебил ее охмелевший Кус,— вернеться молодець, учистимо весілля на славу. Я, старий, покину свою стару, бо огидла,

ухоплю за руку другу стару, свою любу сваху, да з нею в танець піду. От так!

И с этими словами он схватил за руку Молявчиху и потащил ее с лавки на середину хаты.

— А своя стара тебе за полу смикне і не пустить,— сказала Кусиха, удерживая мужа за полы его кунтуша.

Молявчиха упиралась и говорила:

— Змолоду я не була охоча до сих танців, а тепер на старощах об могилі помислити, а не об танцях!

— Батько-тесть шуткує,— сказал Молявка,— аже ж не все трощиться да журиться, і пошутковать можна трохи. Чи так, моя ясочка? — прибавил он, обращаясь к Ганне.

Ганна, улыбаясь, отвечала наклонением головы.

— Поживемо з тобою вкупі, скільки Бог велить,— продолжал Яцько, обращая речь к невесте,— поживемо, і постаріємось, і дітей наживемо, і станем їх паровати, тоді спом’янемо, як чудно ми самі спаровались! Прийшлось нам повінчатись, да зараз і розійтись, як дві хмарки, тільки ненадовго.

— Мені здається,— сказал Кус,— се вже останній поход буде на сього пройдисвіта Дорошенка: от уже третій год манить наших, обіцяє приїхать і своє гетьманство здать, а потім знову збирається бусурман вести на руїну християнську. Тепер уже, мабуть, прийде йому кінець.

— А може, й так станеться, як сталось торік і позаторік, що ходили, походили да назад вернулись, нічого не вдіявши,— сказала Молявчиха.

— А що б ти, свахо, здорова була: навіщо ти нещастя пророкуєш? — сказал порывисто Кус.— Бог єсть милостив: на його уповають царі і владики: Бог — утіха християнству й смирить бусурманську гординю. На його надіємось!

— Вибачайте мені, дурній, свати! — сказала Молявчиха.— Бо я дуже вже з лихом спізналась за своє життя. Се непереливки! Мій добрий чоловік — царство йому небесне, не нажилась я з ним: погубили його прокляті недоляшки! А мене саму хіба мало мучили і катовали! На плечах досі шрами видко, як Дрозденко, собачий син, отполосував нагайкою-дротянкою! По правді йому, бісовому, сталось: пізнав, мабуть, лютий катюга, як-то боляче людям буває, як йому заліпили кулі у груди! Тим оце я, дурна, як згадаю, що було колись зо мною, так і думаю: як би не стряслось знову якого лиха! Вибачайте мене, панство свати!

Молявчиха встала с места и поклонилась Кусу и Кусихе.

— Знаємо, свахо, знаємо добре, що тобі немало Господь посилав лиха, та все те вже минуло і не вернеться. Як з нами ти поріднилась, так з тієї пори все лихо минуло. Поцілуємось да вип’ємо добру чарку! — сказал Кус, выпивая и подавая Молявчихе чарку с горелкою.

— Дай, Боже, нашим любим діткам проміж себе кохатись і довго жити в щасті і здоров’ї! — произнесла Молявчиха, выпивая чарку и передавая Кусихе.

— Дай, Боже,— сказала Кусиха,— вмісті з нами глядіть і не наглядіться на їх коханнячко і не налюбоватись їх щастям!

— А нашим любим і шановним родителям велика і нескончаема до нашої смерті дяка за те, що нас вигодовали, і до розуму довели, і нас спаровали! — сказал Молявка, выпивая горелку из чарки и передавая чарку невесте.

— Вам, тату й мамо, нехай Бог воздасть за мене, що мене згодовали, викохали, до розуму довели і за любого Яцька заміж оддаєте! Дай, Боже, вам обом довгого віку й здоров’я! — провозгласила Ганна, поклонилась родителям и выпила.

— Дай, Боже, щастя, здоров’я на многая літа усім! — провозглашали все и разом наливали горелки в чарки и выпивали.

— Ходім, сину, час уже додому,— сказала Молявчиха.— Як вернешся з походу, зберемось тоді знову до панства сватів да заберемо молоду княгиню: буде вона моїм старощам підмога.

— Буде вона,— сказала Ганна,— веселити матінку свого любого Яця ласкавими словами, буде слухняна й шановлива.

— Яка ти добра, яка ти гарна!.. Моя ясочко! — сказал с чувством Молявка.

Кус с женою и дочерью проводили старуху и сына ее за ворота.

Месяц обливал серебристо-зеленым светом крыши черниговских домов, вершины деревьев в садах и рощах, лучи его играли по ярко вызолоченным крестам недавно обновленных церквей.

III

В субботу, на другой день после того, когда происходило описанное выше, съезжались в Чернигов из ближних сотен сотники со своими выбранными в поход казаками: белоусовский — Товстолис, выбельский — Лобко, любецкий — Посуденко, седневский — Петличный, киселевский — Бутович, слобинский — Тризна, сосницкий — Литовчик; другие, которых сотни лежали далее, выезжали прямо, чтобы на дороге присоединиться к той части полка, которая выступит из Чернигова. У кого из казаков в Чернигове были родные или приятели, тот приставал

в их дворы, другие располагались за городом в поле при возах и лошадях. Некоторые казаки не везли с собою воза, а вели навьюченную своими пожитками лошадь, привязавши к той, на которой казак сидел сам. Каждый сотник, приезжая в Чернигов, являлся к полковнику и не с пустыми руками: один нес ему "на ралець" зверину или птицу, застреленную у себя, другой — рыбу, пойманную в реке или озере своей сотни, кто приводил вола, кто лошадь, кто овцу. Борковский приказывал служителям принять принесенное, объявлял каждому сотнику, что надобно будет идти в поход в воскресенье после литургии, и приглашал всех сходиться к нему на хлеб, на соль перед выступлением.

В воскресенье зазвонили к обедне. Прибывшие казаки пошли по церквам, но не все; иные оставались беречь возы и лошадей своих и товарищеских. Зазвонили и в церкви Всемилостивого Спаса. Это древнейший из русских храмов. Всегда мог и до сих пор может гордиться Чернигов перед другими русскими городами этим почтенным памятником седой старины. Построенный князем Мстиславом Володимировичем еще ранее киевской Софии, после разорения Чернигова, случившегося во время Батыя, этот храм оставался в развалинах до самого полковника Василия Кашперовича Борковского, который недавно оправил его на собственный счет, а Лазарь Баранович только в текущем году освятил новопоставленный в нем престол и назначил к возобновленному храму протоиерея и причт церковный. Кафедральным соборным храмом была тогда церковь Бориса и Глеба; впрочем, архиепископ Лазарь до того времени хотя и считался черниговским архиепископом, но проживал постоянно в Новгороде-Сиверском; он только недавно полюбил Чернигов и стал в нем жить, именно после того, как оправили старую Спасскую церковь.

Спасская церковь, уже в конце XVIII века несколько переделанная и вновь расписанная, в описываемое нами время носила в себе еще живучие признаки прежней старины. Тогда еще существовали на трех внутренних стенах хоры, куда вела лестница не изнутри храма, а с улицы через башню, пристроенную к левой стороне храма: теперь от этих хоров осталась только одна сторона. Вход в трапезу с западной

стороны был широкий, и направо от него был пристроен к церковным стенам притвор, ныне разобранный. Внутри трапезы по стенам и по столбам виднелась еще стенная иконопись, до того старая, что с трудом уже разобрать можно было, что за фигуры там изображались; это казалось безобразным, и требовалась замена старого новым, но средств на такую замену недоставало, и, благодаря такому недостатку, стены церкви оставались в более древнем виде, чем остаются они в наше время.

Звон благовестного колокола раздавался с вершины башни, пристроенной с левой стороны храма. Валила толпа благочестивого народа в этот древний храм чрез главный вход. Вошла туда и бранившаяся чета: казак Яцько Фесенко Молявка-Многопеняжный и невеста его, казачка Ганна Кусивна. Толпа казаков и мещан, входившая в церковь, расступалась перед ними и с благоговением пропустила их. Голова невесты красовалась венком из цветов и обилием разноцветных лент, вплетенных в длинные шелковистые косы, спадавшие по спине; на Ганне надета была вышитая золотом сукня, из-под которой внизу виднелись две стороны плахты, вытканной в четвероугольники, черные попеременно с красными; на груди невесты сверкали позолоченные кресты и коралловые монисты; ноги обуты были в красные полусапожки с гремящими подковками. Рядом с нею с правой стороны шел жених, статный казак с подбритою головою и черными усами, одетый в синий жупан, подпоясанный цветным поясом; к поясу привешена была сабля в кожаных ножнах, разукрашенных серебряными бляхами; обут он был в высокие черные сапоги на подборах с подковками. Вошедши в церковь, жених стал у правого из столбов, поддерживающих свод трапезы, невеста стала у левого столба. Взоры всех жадно впивались в невесту и жениха, и слышались замечания: "Ах, какая пара! ах, что за красавица!"

Вслед за ними скоро вошли в церковь наши знакомые господа, полковник Борковский и воевода Чоглоков. Воевода раза два бросил взгляд на невесту и потом уже, казалось, не хотел замечать ее; во все время литургии не поворачивал даже и головы в ту сторону, где стояла Ганна Кусивна, хотя полковник не раз, поглядывая на невесту,

нагибался к нему и шептал ему что-то. Перед начатием литургии дьякон с амвона провозгласил, что, с разрешения преосвященнейшего Лазаря, архиепископа черниговского и новгород-сиверского и блюстителя Киевского митрополичьего престола, по случаю отправления черниговского полка в поход, будет совершено венчание черниговской сотни казака Якова Молявки-Многопеняжного с девицею Анною, дочерью казака той же сотни Филиппа Куса, с тем, однако, что супружеское сожитие их должно наступить не ранее праздника св. апостолов Петра и Павла, и самое венчание хотя и будет совершено ранее, но будет значиться якобы свершенным в день св[ятых] апостолов Петра и Павла. По окончании литургии поставили среди церкви аналой, протоиерей подозвал жениха и невесту, связал им руки рушником и начал последование бракосочетания. Над головою жениха держал венец его зять, сотник Булавка, над головою невесты — сестра жениха, жена Булавки. По окончании обряда протоиерей велел новобрачным поцеловаться. Тут скоро подошел к невесте родитель ее Кус, взял дочь за руку и, не обращая внимания на жениха, ни на кого из окружавших, потащил ее из церкви: он буквально исполнял приказание преосвященного. Жених остался один. Подошел к нему полковник и промолвил:

— Будь здоров, козаче, з молодою жоною, дай Бог тобі щастя і во всім благопоспішення, добра наживать, дітей породить і згодовать і до розуму довести. Тепер до мене йди хліба-солі покуштовать да од мене разом зо всіма в поход, а я Булавці розказав твій віз і все, що тобі на дорогу треба, випроводить, поки ти у мене гостюватимеш.

Нельзя было ничем отделаться Молявке. Он рядовой казак, а полковник приглашал его к себе за стол наравне с начальными особами: слишком великая честь! Не сказавши ни слова, Молявка пошел за полковником.

— Що, пане воєвода! — говорил полковник воеводе, выходя из церкви.— Яку кралю добув собі сей козарлюга? А!

— Мне не пристало на женскую красоту прельщаться,— отвечал понуро воевода,— не по летам то мне и не по званию. Притом она чужая жена, а Господь сказал: "Аже кто воззрит на жену во еже вожделети ю, уже любодействова с нею в сердце своем!"

Народ расходился из церкви. Полковник с воеводою сел в колясу, и оба поехали в дом полковника. На крыльце дома стояли полковые старшины, обозный, судья и писарь. Они были в другой церкви и ранее прибыли к полковнику. Все вошли в дом, за полковником явились сотники. Кушанье было уже готово, все сели за стол. Недолго тянулась эта дорожная трапеза; ели немного, но пить надобно было немало и притом заздравные чаши. Полковник провозгласил чашу здравия великого государя, потом чашу за гетмана и все войско Запорожское, а наконец — за успех предпринимаемого похода. Тогда полковник объявил, что время двинуться в путь. Полковница позвала детей. Борковский благословил их, дал обычное наставление во всем слушаться матери, потом, обратясь к обозному, сказал, что вместо себя ему поручает управление оставшимися казаками, приказывал жить в согласии и дружбе с воеводою и совет с ним держать во всех делах, касающихся города.

— Счастливо оставайтесь и нас дожидайтесь! — было последнее слово полковника, обращенное ко всем остававшимся.

У крыльца стоял оседланный конь полковника. Борковский вскочил на него с такою быстротою, как будто ему было двадцать лет от роду. Приподнявши шапку, он последний раз обратился к стоявшей на крыльце семье и произнес: "Прощавайте! З Богом!" — и хлестнул он слегка коня своего. За ним сели на своих коней, заранее подведенных в полковничий двор, старшины и сотники и двинулись. Загремели литавры. Заколоколили по всем церквям. По этому знаку сотни двинулись со своих становищ и сотники спешили соединиться со своими подначальными. Булавка поехал впереди своей сотни, а ближе всех к нему следовал его шурин, Молявка.

IV

День, когда совершилось венчание Молявки-Многопеняжного, был ясный и жаркий. В хате Куса собрались две старухи — Кусиха и Молявчиха — ожидать своих детей из церкви. С Молявчихою пришла дочь ее, жена сотника Булавки, женщина лет двадцати пяти, недурная, но худощавая. Все три были одеты в праздничные сукни, вышитые шелками и золотом, в парчевых очипках, покрытых намитками, такими тонкими, что сквозь них просвечивало золотое шитье. Скрипнули двери, и, вместо ожидаемой новобрачной четы, вошел Кус с одною только дочерью.

— Слава Богу! — воскликнул Кус.— Покінчали! От тобі, свахо, нова дочка, нова робітниця в твоїм домі. Люби да жалій, за діло погримай, да легенько, по-материнськи.

— Моя голубочко, моя ластівочко! — произносила Молявчиха, обнимая и обцеловывая Ганну.— А Яцька мого чи вже ж таки не пустили попрощаться з матір’ю та з жінкою?

— Полковник покликав до себе обідать,— сказал Кус.— Не можна було йому відмовитись, бо єсть регіментар. Мабуть, нарочно покликав, щоб не дати йому мизгатись коло молодої подружжя, щоб так сталось, як владика велів,— не зіходитись йому з жінкою, поки піст не пройде. Авжеж, свахо, прийдеться нам попоститься і на діток наших не утішаться, аж поки не вернеться військо з походу!

— Еге! коли б то вернувся! — сказала Молявчиха со вздохом.

— Всі в божій волі! — сказала Булавчиха.— Таке наше життя, що козаки, наші чоловіки, частіш без нас, як з нами. І мій, бач, поїхав, мушу одиницею чекати повороту його. На Бога треба вповати, милостив буде, коли його воля!

— Мудре слово сказаної — произнес Кус.— І моя Ганна, дівка розумна, те ж скаже. Так, Ганно?

— Так, тату! — сказала Ганна.— Що Бог дасть, нехай так і буде! — Но в это время у ней невольно показались слезы.

— А буде таке,— сказал Кус,— що як вернеться зять, тоді накличемо гостей да справимо таке бучне весілля, щоб років зо три об ним говорили. А тепер поки в своїй сем'ї, без гостей, даваймо обідать. Дочко! Зніми з себе празникове одіння да порайся з наймичкою, щоб обід налагодили. Сходи сама до пивниці да наточи тернівки і вишнівки, що у чималих барилах стоять у куточку: уже десять літ, як наливали, берегли для слушного часу. А тепер такий час прийшов, що кращого не було. Уточи два джбани да сама неси, а наймичці не давай і наймита до пивниці не пущай, бо вони наточать да не те що самі нишком питимуть, а ще людей частоватимуть. А воно у нас таке... клейнот!

Ганна вошла в комнату, расположенную рядом с передней избой той же хаты, и вышла оттуда в другом одеянии, какое носила повсякдень. На ней была черная с цветами исподница и зеленая суконная сукня. Она, гремя ключами, вышла из хаты в сени.

Кусова хата двумя окнами выходила во двор, а одним окном на улицу. Оставшись одни, старики заметили, что из улицы кто-то заглянул к ним в окно.

— Хто се там? — с беспокойством сказал Кус и вышел из хаты.— Чого там вам? — слышался его голос.— Чого ви спинаєтесь на призьбу да зазираєте в чужу хату! Ідіть, ідіть собі, відкіля прийшли!

Он воротился в хату.

— Хто там? — спрашивали его Кусиха и Молявчиха.

— Якіїсь москалі,— отвечал Кус,— із воєводських ратних, запевне: двоє їх коло вікон стояли. Я протурив їх. Се, бачу, дізнались, що з сього двора сьогодні вінчались у церкві, так думали, тут весілля справлятимуть. Прийшли баньки витріщать. На чужий коровай у їх очі пориваються. Хотілось би їм, щоб їх позвали поїсти да попити. Нав’язливі люди, сі москалі. Цур їм, од їх поли вріж да втікай наш братчик.

Вошла Ганна, а за нею наймичка. Ганна держала два джбана с наливкою, наймичка — посуду. Накрыли скатертью стол, поставили посуду, положили ножи и ложки. Кусиха из шкапа достала серебряные чарки. Когда на столе все было установлено, наймичка стала приносить ествы: сначала борщ с рыбой, потом жареную рыбу, пирог с рыбой, ягоды и мед в сотах. Поставивши кушанья на стол, сама наймичка взяла ложку и села за стол с хозяевами. Затем вошел наймит, мужчина лет сорока, годовой работник, обедавший всегда с хозяевами. По приглашению Куса и наймит и наймичка выпили водки и пожелали счастия, здоровья и благополучия новоповенчанной паре. Обед шел как-то торжественно и как бы священнодейственно; все были молчаливы, прониклись важностью совершившегося события. Вдруг раздался колокольный звон.

— Козаки в поход йдуть! — сказал Кус и встал.— І наш козак-молодець виходить. Дай, Боже, всім їм щасливу дорогу і в своїй і в царській справі доброго й помисного повоженння!

Он перекрестился.

— І щасливо додому повернутись! — произнесла Булавчиха.

У Ганны снова на глаза навернулись слезы, и она прикладывала к глазам рукав своей вышитой сорочки, хотя и желала пересилить себя, казаться спокойною.

— Скільки у сій чарці крапель, стільки літ жити б твоєму синові, а нашому зятеві в добрім здоров’ї, ніякого лиха не зазнаючи! — сказала Кусиха, обращаясь с чаркою к Молявчихе.

— А нам бы все служити таким добрим да милостивим господарям! — произнес наймит.

После обеда все встали развязнее и веселее. Кусиха так расходилась, что пощелкивала пальцами, да подскакивала, да несколько раз повторяла, что ей ради такого радостного случая хочется танцевать. Кус тотчас начал было ей вторить. Увлеклась даже понурая Варка Молявчиха и уже не стала, как делала прежде, упираться, когда Кус схватил ее за руку и приглашал танцевать с ним в паре. Кусиха, хлопая в ладоши и подпрыгивая, пела:

Кукуріку, півнику, на току,

Чекай мене, дівочко, до року!

Хіба ж би я розуму не мала,

Щоб я тебе цілий рік чекала.

Хіба ж би я з розуму ізійшла,

Щоб я собі кращого не знайшла!

Остановившись, она закричала:

— Да що се ми танцюєм без музики! — Потом, обратившись к наймиту, проговорила: — Явтуху! Серденько! Іди поклич Василя-скрипника да, коли можна, ще кого-небудь, хоч того дударя, як, пак, його...

— Юрка? — сказал наймит и хотел уходить. Но Кус остановил рукою его, дернувши за полу свитки, и говорил, обратившись к жене:

— Ні, ні, жінко Параско! Сього не можна.

— Чому не можна? — порывисто спрашивала Кусиха.

— А тому не можна,— сказал Кус,— що владика не велів. Нам треба його слухати. Не можна, не можна, не дозволю!

— Не дозволиш, так нехай по-твоєму буде,— сказала Кусиха,— ти на те господар, пан в своїм домі.

Успокоившись от внезапного порыва к веселости, вся семья уселась снова на лавках, немного поболтали, потом Молявчиха с дочерью встали, помолились к образам, поблагодарили хозяев за хлеб-соль и собрались домой. Молявчиха, кланяясь в пояс, просила Куса и Кусиху с дочкою к ней на обед на другой день. Кусы обещали. После ухода Молявчихи и Булавчихи Кус, чувствуя, что голова его от винных паров отяжелела, отправился в садик, подостлал под голову свою свиту, залег спать в курене, сложенном из ветвей под двумя яблонями. Пчелы, вылетая из расставленных по садику ульев, наводили на него сладкую дремоту своим жужжанием. Кусиха забралась отдыхать в чулане, откуда окно выходило только в сени: там летом было прохладно и безопасно от надоедливых мух. Ганна с наймичкою перемыли посуду после обеда, уставили ее на место, подмели хату. Окончивши работу, Ганна ушла в сад и, чтоб не мешать отцу, забилась в противоположный угол садика, села под развесистою липою и там предалась раздумью.

Недалеко от ней был тын, огораживавший садик с улицы, и чрез прогалину в этом тыне смотрели в сад четыре злые глаза, но Ганна их не замечала. Долго сидела таким образом Ганна. Пробегало в ее памяти все ее детство с той минуты, как она стала сознавать свое бытие на свете, ласки и приголубления родителей и близких, игры с девочками и

мальчиками одного с нею возраста; приходили на память песни, которые она слышала и мимо своей воли перенимала; вспомнились первые, неясные ощущения потребности любви, выражавшиеся тем, что ей все вокруг становилось как-то грустным; вспомнила первую встречу с Молявкою, первый разговор с молодцем, о котором она и своим родителям не показала ни малейшего намека, первое его объяснение и ее взаимное признание, которое тогда бросило ее в краску, его сватовство, согласие родителей, беспредельную радость и довольство, охватившие ее душу, приготовление семьи к свадьбе... Все это вспоминать было так сладко и весело! Затем — ее венчание, тотчас за ним — разлука! Пришли ей на память ровестницы, уже вышедшие замуж,— на одной свадьбе она сама была в дружках, на другой в светилках; ее подруги, повенчавшись, были покрыты и стали жить с мужьями. А она? Обвенчалась — и Бог знает, покуда будет ходить девкою: не ее воля и не ее жениха! С нею не так, как с другими! Вдруг ей становилось страшно за свою будущность. Что-то темное, тесное, что-то не то колючее, не то жгучее ей представлялось. Ух! И она, пересиливая себя, вскочила и перекрестилась.

Солнце на западе стало склоняться к горе, и тени от строений и деревьев удлинялись; в разных местах Чернигова начал показываться над крышами хат дымок, дававший знать, что уже люди начинают топить печи для вечери. Ганна вспомнила, что надобно полить цветы в саду, повянувшие от дневного зноя, вышла из сада, вошла в сени, где увидала мать; она только что вышла из чулана и умывала себе заспанное лицо. Ганна отворила дверь в противоположную сторону через сени в рабочую избу, или поварню, взяла ведра, сказала, что пойдет по воду к Стрижню, и вышла со двора.

Ряд дворов, между которыми был двор Куса, выходил прямо к высокому берегу реки Стрижня. Против Кусова двора сход к реке был крут, но влево, двора через три, шел из города к реке подземный ход, прорытый в горе. Этот тайник устроен был для того, чтобы, на случай неприятельского нашествия, в городе не было недостатка в воде. Главный вход его находился далеко в средине города, но и близко от

Кусова двора входила в него боковая лестница ступеней на десять вниз: ею можно было очутиться в тайнике. Этим путем обыкновенно ходили за водою дивчата, жившие неподалеку в конце города: можно было таким образом подойти прямо к воде, не таскаясь с ведрами на гору. Туда направилась Ганна с своими ведрами. Но, идя со двора к тайнику, встретила она двух москалей и остановилась; она заметила, что это были те головы, что заглядывали в окно, когда она возвратилась из церкви; их тогда удалил от окна ее родитель. Ганну взяло раздумье. "Зачем они тут слоняются?" — думала она. Но москали, бросивши на нее взгляды, по-видимому, равнодушные, пошли в противоположную сторону от тайника, мимо Кусова двора, нимало не оглядываясь на нее. "Нет,— подумала Ганна,— я испугалась напрасно. Это люди совестливые; они меня не зацепляют!"

Она смело пошла к спуску в тайник, сошла по лестнице и очутилась в темноте: только слабый свет проникал туда с той стороны, куда ей нужно было идти за водою. Вдруг послышались сзади торопливые шаги. Не успела Ганна решить, бежать ли ей вперед или назад, четыре сильные руки схватили Ганну сзади, коромысло с ведрами упало, она крикнула, но ее крик потерялся в тайнике. Ей завязали рот и глаза, она не в силах была более ни крикнуть, ни распознать, где она очутится. Ее потащили, или, лучше сказать, понесли. Сама она с испугу не могла уже двигаться. Похитители унесли добычу свою к главному выходу из тайника, находящемуся, как сказано выше, в средине города.

V

— Где Ганна? — спрашивал Кус у своей жены уже в сумерках.— Где вона?

Кусиха не видала дочери и не знала, где она. Кусиха пошла в черную хату и спрашивала наймичку. Та сказала, что Ганна пошла за водою.

— Давно? — спросила Кусиха.

— Давненько уже,— сказала наймичка.

— Пора б уже їй вернуться, бо вже темніє надворі.

Кусиха стала недовольна дочерью. Никогда с нею подобного прежде не бывало. Как можно так запаздывать! Верно, думала, встретилась с подругами-девчатами и заболталась с ними, а может быть, какая из подруг к себе зазвала. Так подумала Кусиха, так сообщила и мужу. Но время шло, Ганна не возвращалась. Наступила уже совершенная темнота, ночь была темная, месяц был уже на ущербе, всходил поздно и тогда еще не показывался на небе. Родители тревожились не на шутку. Вышедши за ворота, отец и мать пошли в разные стороны, и оба кричали: "Ганно, Ганно!" Но их крик только повторялся какими-то насмешниками, собравшимися на игрище. Шалуны стали передразнивать кричавших: "Ганно, Ганно!", подделываясь под слышанные голоса, и себе кричали: "Ганно, Ганно!", хотя их не занимало, какую там это Ганну ищут.

Воротились родители домой. Кус бил себя руками о полы и машинально твердил: "Нема, нема!" Кусиха терзалась и вопила: "Доненько моя! Любонько моя! Де ти ділась? Де ти єси? Чи ти жива ще, чи, може, тебе уже на світі немає?"

Наймит и наймичка, из участия к заботе своих хозяев, взяли фонари и пошли к тайнику. Через несколько минут наймичка прибежала оттуда в испуге и, вбежавши в хату, завопила:

— Лишенько! Відра лежать в пролазі!

Вслед за нею наймит принес ведра и коромысло. Увидавши эти вещи, Кусиха испустила пронзительный крик, металась из стороны в сторону, не знала, бедная, куда бежать ей, что делать, схватилась за

голову, сбила с себя очипок, начала рвать на себе волосы и кричала: "Доненько, доненько! пропала ти, пропала!"

— Утопла! — сказал Кус, но потом приложил палец ко лбу, что с ним случалось всегда, когда он о чем-нибудь трудном размышлял.— Ні, не утопла! — продолжал он.— Якби утопла, то відра й коромисло не лежали б далеко від води. Не утопла вона. Лихі люди її зайняли в тайнику. Може, убили! А за що? Кому вона що недобре удіяла?! Сказать би, звір її розірвав. Так як же звір туди забереться? Хіба які лиходії вхопили її та згвалтовали, залестившись на те, що дуже хороша. Учинють над нею, що захочуть, а потім у воду вкинуть!

От таких догадок приходила Кусиха все больше и больше в ярость. Ей казалось, что именно так и есть, как говорит муж: злодеи сгубили ее дочь. И принялась она сыпать ругательства и проклятия на злодеев.

Наймичка, по приказанию хозяйки, известила Молявчиху о внезапной пропаже нареченной невестки. Молявчиха тотчас явилась к Кусихе. Обе старухи завели вопль, а Кус то корил баб за их крики и вопли, то вторил им сам и раздражал их скорбь своими жалобами и дурными догадками. Так провела ночь злополучная семья. Иногда, на мгновение, надежда сменяла отчаяние: услышат за двором шум, скрипнут где-нибудь ворота, залает собака... подступит к сердцу радость, слушают, не она ли... дожидаются. Ее нет! Мимолетная надежда опять сменяется отчаянием, а оно, после короткого и напрасного перерыва, делается еще более жгучим и гнетучим.

Стало наконец рассветать.

— Будем кричати да голосити,— з сього нічого не буде! — сказал Кус.— Піду до городового атамана, заявлю. Нехай шукають Ганни; коли її нема на світі, то нехай хоч слід її знайдуть.

И, оставивши баб продолжать свои вопли, Кус пришел к городовому атаману.

Атаман, по прозвищу Беззубый, с удивлением узнал о внезапном исчезновении той новобрачной, красотою которой любовался вчера в церкви св[ятого] Спаса со всем бывшим там народом. Первое, что предпринял атаман, был расспрос Кусу: не было ли у него с кем вражды и ссоры. Кус уверял, что не было. Тогда атаман, немного подумавши, решил послать десятских обходить все казацкие дворы и в городе и в пригородных селах и везде спрашивать, не видали ли где Ганны Кусивны и не сообщит ли кто догадки о том, кто бы мог ее схватить.

— Чи не вхопили її москалі? — заметил Кус.— Вчора, як повернулись з вінчання, примітив я, що коло мого двора все ходили якісь москалі й у вікна зазирали.

— Сходи до воєводи! — сказал городовой атаман.— Попрохай, щоб велів учинить розиск проміж своїми да й войтові написав, щоби по міщанських дворах те ж учинено було, а то ми тільки над козацькими дворами регементуємо.

Кус отправился к воеводе.

— Что тебе, добрый человек? — сказал ласково Тимофей Васильевич, когда вошел в его дом Кус и низко поклонился.

Кус рассказал ему, что дочь его пропала без вести.

— Эх, добрый человек, добрый человек,— сказал Тимофей Васильевич.— Видно, что отец нежный! Всего один день, а он уж горячку запорол. Подожди, найдется! Да вот что, добрый ты человек, скажи по правде: она, может быть, у тебя гулящая и своевольная. Вестимо, коли одна дочь у отца, у матери, так избалована.

— Ні, пане воєводо,— сказал Кус,— вона у нас не те що не гуляща і не своєвільна, а така, що її ніколи не треба ні спинять, ні учить, вона і на улицю ніколи не ходила, де бува ігрище. Така слухняна, соромлива, гречна... Спитайте усіх сусідів, усі в один голос нічого не вимовлять про неї, тільки хороше.

— Так, может быть, встретилась с какою-нибудь подругою, а та ее зазвала к себе в гости, пошли у них промеж себя тары да бары, ночь захватила, она побоялась идти домой и осталась ночевать в гостях,— говорил воевода.

— Я і сам так спершу думав,— сказал Кус,— тільки вже б їй пора була вернуться давно. Ніколи такого случаю не було з нею, пане воєводо.

— Так что же, что не бывало! Теперь в первый раз такой случай пришел! Я рад тебе, добрый человек, во всем помочь, написать велю войту, чтоб учинил розыск о ней по всем мещанским дворам, а сам я пошлю своих стрельцов по тем дворам, где есть становища наших царских ратных людей. Только я уверен, добрый человек, что не успеют произвести розыск по мещанским дворам, как твоя дочь к тебе явится. А я твою дочь вчера в церкви видал мельком, как она венчалась. Я с паном полковником там был. Славный молодец твой зять. И она красавица. Парочка нарядная. Полковник мне сказал, что жених тотчас после венца пойдет с казаками в поход. Мне так стало жалко, что я просил полковника, нельзя ли ради новоженного дела оставить его. Что же, мое дело сторона! Нам, воеводам, от великого государя не велено вступаться в казацкие дела. Будь покоен, добрый человек! Дочь твоя найдется, сама к тебе воротится, а не придет сама, так мы ее найдем, и я сам, самолично, приведу ее к тебе. На том даю тебе мое крепкое слово.

Кус поблагодарил воеводу за доброе слово и ушел.

Прошел день, прошел другой, третий,— Ганна не возвращалась. Мать до того заметалась, что стала как безумная, и в речах ее мало было склада. От тоски напало на нее такое истомление, что пройдет несколько саженей и садится либо совсем упадет на землю. Молявчиха первые дни очень сердечно принимала участие в беде, постигшей мать ее невестки, но на четвертый между двумя бабами начались пререкания. Кусиха в своих сетованиях о дочери высказалась, между прочим, что "на лиху годину" повенчалась она с Молявкою, а Молявчиха оскорбилась такою выходкою и, с своей стороны, ядовито заметила, что Бог знает, где она делась, может быть, у ней на уме заранее что-нибудь затеяно было, а может быть, ее родители знают, где их дочь теперь, знают, да не скажут!

— Не такого зятя нам було б добути, а другого кого-небудь, то, може б, дочка наша ціла була! — сказала Кусиха.

— Не такого подружжя треба б моєму синові, а мені невістки! — произнесла Молявчиха.

Мать Молявки-Многопеняжного ставила Кусихе на вид, что Молявка родом значительнее каких-нибудь Кусов и Кусы должны бы себе за честь считать, что роднятся с Молявками. Кусиха упрекала, что Молявки хотят загарбать Кусово достояние и для этого входят с ним в свойство: Кусы и Молявки хоть и одинаково казаки, но Кусы старинные от прадедов и прапрадедов черниговские казаки, а Молявки так себе — какие-то прибыши.

С таких едких замечаний начались взаимные ругательства, а наконец и проклятия.

— А щоб твоя дочка не знайшлася, а так би скрізь землю пішла! Негодниця вона! — сказала Молявчиха.

— А щоб твій син з войни не вернувся! — крикнула Кусиха.

Спор дошел до того, что Молявчиха плюнула на Кусиху, а Кусиха плюнула на Молявчиху. Молявчиха сказала, что с этих пор нога ее не будет в Кусихиной хате, а Кусиха сказала, что было бы лучше всего, когда бы и прежде ни Молявчиха, ни сын ее не переступали их порога.

Добродушный Кус хотел было умиротворить разъярившихся баб, но потом рукою махнул и произнес:

— Баби яко баби: волос довгий, а розум короткий.

С той поры Молявчиха не посещала Кусихи, а Кусиха не приходила к Молявчихе. Но приходили к Кусихе разные соседки; им рассказывала Кусиха о своей размолвке с Молявчихою, а соседки, слушая это, с своей стороны подстрекали их к ссоре: нашлись такие, что начали переносить Кусихе, что говорит о ней Молявчиха, а Молявчихе — что говорит о ней Кусиха.

Окончился Петров пост. Ганна не возвращалась. Несколько раз еще ходил Кус и к городовому атаману, и к войту, и к воеводе. Никто не порадовал его открытием следов пропавшей дочери. Атаман даже заметил, что Кус в своем нетерпении начинает надоедать своими жалобами на свою долю, что у него, атамана, без его дела много других дел. Войт сказал, что употребил уже все меры, какие у него были в распоряжении, и не его вина, что ничего не открыл. При этом войт заметил Кусу: "Было б не пущать дочки, то б и не пропала!" Любезнее всех принимал Куса воевода, всегда жалел о нем, делая вместе с ним разные предположения насчет пропажи его дочери, и утешал всеми возможными способами, даже говорил, что если бы случилось так, что его дочери уже не было на этом свете, то все-таки доброму человеку остается то утешение, что он увидится с нею на том свете. При этом Тимофей Васильевич благочестиво вздохнул.

Между тем по поводу исчезновения Кусивны стали расходиться выдумки, самые нелепые, безобразные, отчасти легендарного свойства,

но оскорбительные для семейства Кусов. Все это вымышлялось бабами из тех дворов, которые были небогаты: там был повод завидовать состоянию Кусов. Таким образом болтали, что Кус нажил свое состояние (которое завистникам представлялось в преувеличенном размере) тем, что знался с бесами: еще будучи парубком, при помощи бесов нашел он заклятый клад; никто не мог добыть этого клада, и за то, чтоб его вырыть, обещал Кус бесу дитя свое, как у него будут дети. После того Кус женился, пошли у него дети, но все умирали в малом возрасте, одна только дочь доросла до совершенных лет, и в тот самый день, как она вышла замуж и повенчалась, бесы потребовали исполнения обещания, данного отцом в то время, как они ему помогли вырыть клад. Ганну Кусивну схватили не люди, а бесы, и уж теперь найти ее никак нельзя, потому что она — в пекле, и дорого, рассуждали, обошелся Кусу добытый клад; теперь бы он рад был в десять раз дать против того, сколько тогда получил, да уж нельзя! Другие говорили, что Кусиха — ведьма, умеет перевертываться то свиньею, то клубком, то копною, то жабою, то летучею мышью и научила такой же ведьмовской науке свою дочь, но этой дочери не следовало принимать святого закона, а она, как повенчалась, и святой закон приняла, вот за то, рассердившись, бесы ее ухватили. Были еще и такие толки: полюбила Кусивна Молявку и причаровала его к себе с бесовскою помощью. Молявка без ней жить на свете не мог, только ей не следовало вступать с ним в закон, а как она повенчалась — бесы ее за то ухватили: живи с ним по-нашему, а не по-божьему! Сочинили еще и вот что: продал Кус свою дочку монаху, а для вида выдал ее замуж за Молявку затем, чтоб, как Молявка уйдет на войну, он дочку свою передаст монаху в пользование, а слух пустит в народе, будто его дочку утащил кто-то неведомо куда! И еще было немало подобных вымыслов, один другого безобразнее. Кумушки обо всех ходивших толках сообщали Кусихе, уверяли ее, что это все выдумала Молявчиха, и тем раздражили Кусиху. Она так увлеклась злобою против Молявчихи, что даже печаль о погибшей без вести дочери уступала в ее сердце место этой злобе. Молявчиха, со своей стороны, поджигаемая такими же кумушками, выражала благодарение небу, что сын ее нежданным путем избавился от недостойной связи, и

молила Бога о благополучном его возвращении с войны для того, чтобы он поскорее мог сыскать себе другую подругу жизни.

Прошел июль. Прошли Спасовки. Вот уж и люди сельские отработались в поле. Уже осенние утренние холода стали предвещать наступление осенней слякоти, а за нею стужи и снегов. Ганны все не было, и никто не мог сказать, где она: и след ее простыл.

VI

Под городом Чигирином, на широкой равнине, по которой змеится извилистая река Тясмин, раскинулся стан казацкий, разбросались купы полотняных шатров по полкам, высланным гетманом. Между этими шатрами пестреют палатки начальных лиц, их пологи из цветной ткани, а на верхах их пуки павлиньих перьев. Далее от казацкого стана над рекою Янчаркою расположен стан царских великорусских войск под начальством Григория Ивановича Косагова.

Это отряды, которые выслали к Чигирину гетман Самойлович и боярин Ромодановский, удержавши остальные войска свои в станс под Вороновкою.

Начальником или наказным гетманом над высланными казаками назначен генеральный бунчужный Леонтий Полуботок, тогда временно занимавший уряд переяславского полковника. Собрались у него в шатре полковники: черниговский, гадяцкий и миргородский. Наказной гетман объявил, что Григорий Иванович Косагов посылает к Дорошенку увещательную грамоту; и казаки должны послать такую ж от своего гетмана.

Полуботок громко прочитал составленную генеральным писарем грамоту и, передавая ее Борковскому, сказал:

— Василій Кашперович! Вибери кого-небудь послати з сим листом. Значного урядового не посилай. Годі чествовати сього пройдисвіта! Пошли до його якого-небудь рядовика, такого тільки, щоб потрапив придивиться, що там діється у Чигирині.

— У мене якраз такий знайдеться,— отвечал Борковский и ушел с грамотою в свою ставку, отстоявшую от Полуботковой сажен на пятьдесят.

Оставшиеся в шатре у Полуботка стали пить и закусывать, а Борковский, пришедши в свой шатер, велел позвать Булавку и сказал:

— Пане сотнику! Посилай швагра свого Молявку з оцим листом до Дорошенка і скажи, щоб він, будучи у Чигирині, що можна там, виглядів і вислухав. Він не дурень, зрозуміє.

Булавка, передавая шурину эту грамоту, говорил:

— Оце тобі, мій голубе, значне полєценє. Тепер час тобі і случай показати себе усім людям і панству. Клич з собою суремщика.

Молявка вместе с трубачом отправился к окраине нижнего города Чигирина, отстоявшего на добрую версту от казацкого стана. Собственно, это и был город в смысле людского поселения, так как то, что называлось верхним городом, был только замок, или цитадель. Нижний город был обведен земляным валом, по верху которого шла толстая бревенчатая стена, а под валом, на наружной стороне, прокопан был ров в три сажени в ширину и глубину. Молявка обвязал себе голову белым платком, трубач изо всей силы затрубил. Караульные казаки с башни, построенной над воротами, окликали подходивших к городу, а Молявка, вместо ответа, наткнул на саблю свою шапку с повязанным на ней платком и махал ею. Караульные спустили поднятый вверх цепями у ворот мост через ров и отворили калитку, проделанную в тяжелых воротах. Молявка вместе с трубачом вошел в город. Его сразу

окружила толпа. Спрашивали — зачем, к кому, с чем. Молявка сказал, что с "листом" к гетману.

— А хоч би він швидше сам зрікся от того нещасливого гетьманованння! — послышалось в толпе.

— Чого-то вже йому тепер упираться? Сам же, збираючи громаду, каже, що вірним царським слугівцем хоче зоставатись, так чого ж коли цар велить їхать і здавать своє гетьманство, так уже б і робив, як цар йому каже. Так ні! Каже: підождемо. Турок нехай, каже, москаля ще полякає, так москаль здатніш буде на умову. А щоб його! Чого там ще дожидати? Вже уся Україна до вас на слободи утекла, а в Чигирині тільки що тижнів на два стане чим жить. Тоді всі так юрбою і сипнуть до вас. Не пухнуть же всім з голоду!

Такие речи услышал тогда Молявка от народа, едва только вошел.

— Де він? — спрашивал Молявка.— Либонь, там, на горі? Ведіть мене до його.

Он указал на гору, откуда белелись стены недавно оштукатуренного дома гетманского, стоявшего посреди замка.

— Ні, там його нема,— был ответ.— Он чуєш: музика гра. Се він розважує своє горе, чуючи, що приходить кінець. Накликав музик: скрипки, кобзи, бандури, сопілки, сурми, бубни, ходить по городу із шинка в шинок, удаючи, ніби він уже не гетьман, а простий козарлюга-запорожець. І старшини з ним, і тесть його Яненко й інші. Ідуть да співають і скачуть.

— Еге! — заметил кто-то.— Як чує, що над шиєю гостре залізо висить, так який став до всіх доступний, простий да приязний, а перше пишався!

— Тепер що хоч йому кажи, так не сердиться, хоч і не послухає ради, а не сердитиметься за неї; перше, скажи лишень йому таке, що проти шерсті,— так опісля сам стережися: присікається, неначе за що інше, да у дибу заб’є, а то і голову стяти розкаже,— заметил Чигиринский сотник Блоха, стоявший здесь же, между прочими.

До ушей Молявки долетали звуки музыки, и все становились ближе и ближе. Прошедши несколько десятков шагов далее, до поворота в другую улицу, он наткнулся на шествие, выступавшее из этой поперечной улицы. Бежала пестрая толпа народа обоего пола и разных возрастов, начиная от седобородых дедов и сгорбленных баб и кончая детишками в одних рубашонках; в бархатном, малинового цвета кунтуше, в красных сапогах и в заломленной набекрень шапке с бриллиантовым пером, гетман Дорошенко отплясывал тропака; обок его то же делали писарь Вуехович, обозный Бережецкий, судья Уласенко, гетманский тесть Павло Яненко — все одетые в праздничные кунтуши разных цветов — кто в коричневом, кто в ярко-красном, кто в зеленом. Если бы внимательно вглядеться в их лица и движения, то можно было сразу уразуметь, что они более по принуждению, чем по добровольному влечению делали это. За плясунами шли музыканты. Вельможные гуляки, притопывая ногами, хором пели:

Паутина по дорозі повилась, повилась,

А дівчина з козаком понялась, понялась.

— Не сю! — крикнул вдруг Дорошенко.— А тую, що грали, як з замку виходили.

Музыканты остановились и потом заиграли на другой голос. Дорошенко затянул:

Нікому я не дивуюсь, як сам я собі,

Пройшли мої літа з світа, як лист по воді,

А вже мої стежки-дорожки позаростали,

А вже мої вороні коні поіз’їжджали,

А вже моє золоте сідельце поламалося,

А вже моя родинонька одцуралася.

При звуках этой песни приостановилась пляска. Молявка думал: не подойти ли и подать "лист" Дорошенку, но не решился, соображая, что, чего доброго, он рассердится и почтет за издевку над собою. Но гетман со старшинами, сделавши несколько шагов и припевая песню, пошли прямо к шинку, где на крыльце стоял шинкарь, празднично одетый: видно было, что и шинкарь приготовился к посещению его шинка высокими гостями.

— Шинкарю! Що стоїш, йолопе! — кричал что было силы Дорошенко. — Свому панові, батькові гетьманові, горілки піднось!

"О,— подумал про себя Молявка,— він не соромиться і тут же сам себе гетьманом величає. Так і на мене він не розсердиться, коли я йому як гетьманові подам належний до його лист".

Шинкарь подносил Дорошенку с поклоном большую стопу, налитую до края горилкою. В это время протеснился Молявка и, ставши лицом к лицу перед Дорошенком, поклонился, подал грамоту и произнес:

— Ясновельможний пане! Лист од його милості ясновельможного пана гетьмана Івана Самойловича.

— А! — сказал Дорошенко, быстро взглянувши на подателя.— Ти не кажи просто: "Од гетьмана лист", а кажи: "Од гетьмана обох сторон Дніпра". Бо він так себе іменує, хоча по сю сторону тоді хіба осяде, як мене тут не буде. Подай лист! Хто ти такий?

— Я,— отвечал Молявка,— Черніговського полку черніговської сотні козак-рядовик. Послав мене полковник Василь Борковський, а він взяв сей лист од наказного гетьманського Левона Полуботка.

— Гетьман обох сторон Дніпра, мабуть, мене вже і за чоловіка не ставить. Посилає до мене такого простака! А чому значного урядового не прислав? Було б тому полковникові, що тебе до мене виправив, було б йому самому сюди приїхать да в ноги мені поклониться,— сказал Дорошенко.

— Того я не знаю, пане ясновельможний гетьмане! — сказал Молявка.— Бо я чоловік підначальний. Регементар мій мене позвав і дав сей лист до твоєї милості. Мушу слухати!

— Правда, чоловіче,— сказал Дорошенко,— бачу, що у тебе голова не сіном напхана. Ти хоч простак, а вже коли до мене прийшов, так став мій гість. Пий з нами горілку. Шинкарю, налий йому.

Шинкарь налил стопу горилки и подал Молявке. Казак поднял ее вверх и крикнул:

— Доброго здоров’я і в усім щасливого повоження, пане ясновельможний гетьмане!

С этими словами он выхилил всю стопу.

— Як тебе звуть, козаче? — спросил Дорошенко.

— Яцько Молявка-Многопіняжний,— проговорил посланец.

— Грошей, видать, багато було у батьків, що так продражнили! Але хоч би і у тебе самого було грошей много, а все-таки не слід було посилати простого рядовика до мене. Вуєхович! — сказал он, обратившись к своєму писарю.— Читай усій громаді! Я гетьманом не сам собою став і сам собою без громадської ради нічого не чиню.

Вуєхович, человек невысокого роста, с красноватыми хитрыми глазами, взявши принесенный "лист", стал читать его, произнося тонким, почти женским голосом:

"Мой велце шановный, ласкавый добродию, пане а пане гетьмане чигиринський! По указу царского пресветлого величества послали-сьмо с купной порады его милости боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского, стольника Григория Ивановича Косагова с выборными царскими ратными людьми генерального бунчужного Левона Полуботка с четырьмя казацкими полками и с нашею конною надворною кампаниею ку Чигирину, понеже многократне и многообразие твоя милость ему, боярину, и мне, гетману обеих сторон Днепра, обещал еси своею особою прибыти до нас в обоз для принесения присяги его царскому пресветлому величеству, обаче тое твоей милости обещане доселе не совершено делом".

— Стривай! — прервал чтение Дорошенко.— Як "не совершено ділом"! Свідки мені усі чигиринці і панове запорожці, що приїздили до мене того минулого року в місяці октябрі, з котрих деякі й нині тепер притомні суть, як я тоді виконав присягу царському пресвітлому величеству перед паном кошовим отаманом Іваном Сірком і перед донським отаманом Фролом Минаєнком в притомності многих товарищей війська низового січового і донського, а напотім і санжаки-турецькі одослав на столицю в Москву. А попович-гетьман пише, буцім обітниця моя не совершена ділом! Батько Яненко, чи ти возив санжаки в Москву?

— Я, пане гетьмане! — отвечал Яненко.

— А гетьману-поповичу хочеться, щоб я йому поклонився? — продолжал Дорошенко.— Інше діло — вірою-правдою цареві-государеві служить і добра хотіть, а інше — царським поддаником кланятись. Я вірний підданий і слуговець царському пресвітлому величеству, як присягав йому, а поповичеві кланятись не хочу.— Он поднял вверх налитый горилкою кубок и громогласно проговорил: — П’ю, на тім п’ю, що мені гетьманові-поповичеві клейнодів не оддавать. Панове запорожці і ви всі, панове чигиринці, громадо! Заступіться за мене! На що се навкруги Чигирин оступило московське і барабашівське військо? Я цареві не ворог, не супостат, а такий же вірний поддаий, як вони всі. Вони мусять отойти од нашого города. Молявко-Многопіняжний! Перескажи те, що ти од мене чув. Не хочу Самойловичеві-поповичеві кланятися, а сам поїду в Москву, поб’ю чолом царському пресвітлому величеству самому, а не його царському бояринові і не гетьманові — барабашському поповичеві. А коли не одійдуть і мене не пропустять, так я сяду на кухву з порохом і спалюсь, і всі чигиринці разом зо мною пропадуть. Нехай гріх на тих буде, що не хотять святого покою і братернюю війну зачинають. Я до їх з щирим серцем, а вони на мене з ножем. Я покою хочу, а вони йдуть на мене войною на втіху бусурманам, хреста святого ворогам. Да ще мене перед царським пресвітлим величеством і перед усім християнством оговорюють. Запорожці і ви всі, чигиринці! Не видавайте мене, як донці колись Стеньку свого видали!

— Не видамо, не видамо! — кричали запорожцы, стоявшие кучкою в красных жупанах.

— Не видамо, всі один на одному головою наложим! — произносили чигиринцы вслед за сечевыми гостями; многие хотели бы выразиться иначе, да не смели: каждый не ручался, чтобы все поддержали голос, противный гетманской воле.

— "Ще козацька не вмерла мати!" — казав колись вічнославної пам’яті батько Зіновій-Богдан Хмельницький! — продолжал Дорошенко с увеличивающимся задором.— Коли наше не в лад, то ми з нашим і назад. Коли так, то ми опять бусурмана в поміч покличем. А що ж

робить! Коли свої браття-християни так нам немилостиві,— з неволі приходиться у бусурмана ласки прохати. Не бійтесь, братці чигиринці, моя люба громадо! Подасть Бог нам рятунок проти сих немилостивців, що хотіли б нас в ложці води втопити. Прийдуть на одсіч нам бусурмани, і тоді москалі і барабаші будуть, як зайці, утікати од Чигирина. Уже то було з ними. Пам’ятаєте, як четвертого року приходили під самий Чигирин гетьман-попович і боярин Ромодан з великими силами, одначе, почувши, що хан, його милость, йде з своїми ордами, мусили одступиться, а хан перерізав їм шлях до Черкас. Ледве-ледве, утративши многих, добігли до Дніпра і срамотно утекли в свою сторону. І тепер з ними те ж станеться. Ось підождать прийдеться кілька день, прийде салтан Нураддин з ордою, у нас на кілька день стане харчу. А коли Бог так дасть, що прийдеться нам пропадать, так і пропадем всі до одного! Чуєш се ти, Молявка Многопіняжна? Уторопав, що тут казано? Оце все і розкажи, кому там слід, да скажи, щоб наперед не присилали до мене простого рядового, а нехай розмову зо мною ведуть через значних людей, войскових товаришів. Бо я ще своєї гетьманської булави не здавав, і ще я єсть гетьман, і мене треба їм поважати, як належить гетьмана. І ляхи пишуть до мене латиною і величають мене: "Zux zoporovien is".

После этой речи Дорошенко обратился к народу и кричал:

— Не вмерла ще козацька мати! Козак п’є, на лихо не потурає і самого чорта не боїться, не те що московської да барабашської душі!

И он начал снова плясать, припевая:

Не тепер, не тепер

По гриби ходити,

Восени, восени,

Як будуть родити.

Вуехович отстал от гетмана и подозвал к себе кого-то из толпы, говорил что-то на ухо, поглядывая в то же время на Молявку, а последний продолжал стоять на одном месте, провожая глазами удалявшегося с приплясом гетмана; человек, с которым говорил писарь, кивнул головою, давая знать, что все разумеет; тогда сам Вуехович подошел к Молявке и сказал:

— Ти сказав, що ти козак Черніговського полку. Поклонись Василю Кашперовичу, полковнику свому. Скажи: писар Вуєхович шле йому свій братерній поклон, щирому приятелеві!

Сказавши это, Вуехович пошел за гетманом, куда также двигалась густая толпа народа. Молявка повернул назад, уже исполнивши свое поручение, как он думал. Вдруг догоняет его тот самый человек, которому Вуехович говорил что-то на ухо.

Он сказал Молявке:

— Товаришу земляче, я виведу тебе! — Он шел с ним рука об руку к городским воротам и говорил: — Посилає гетьман козака Мотовила в образі старця, ніби ялмужни просячого, з листом до кримського салтана, уверчен у його в личаках. Він от зараз за тобою з города вийде. Всі люди в Чигирині об тім тільки Бога молять, щоб гетьмани швидше замирились між собою,— огидла война; до того, коли довго стоятиме військо, голод настане. Уже і так дітей много умирає. Всі хотіли б йти за Дніпр на слободи.

Эти слова проговорил он без всяких движений, потупя вниз голову и не глядя на Молявку, и никто из шедших около него не мог ни расслышать его слов, ни даже догадаться, что он передает посланцу какой-то секрет. Не дожидаясь никакого ответа, неизвестный оставил Молявку.

По выходе из ворот Молявка стал раздумывать, что лучше делать ему: идти ли в стан и объявить о посланном в образе нищего или подождать, пока этот нищий выйдет из города? Он рассчитывал: если он теперь заявит о том, что услыхал, то нищего могут как-нибудь проглядеть или даже если поймают, то другие, а не он сам; напротив, если он сам лично этого нищего схватит и приведет к начальству, то дело оценится как важный и очень полезный для всего войска подвиг. И выбрал он последнее и нарочно пошел медленно, беспрестанно оглядываясь назад, как вдруг своими быстрыми глазами увидел, что из рва, окружавшего город, высунулась человеческая фигура и пошла по направлению вправо, в сторону, противоположную той, куда следовал Молявка. Молявка тотчас понял, что в городском укреплении есть где-нибудь тайный выход и виденный им человек прошел им так, что очутился во рву, а потом, при пособии какого-нибудь средства, выкарабкался изо рва. Молявка быстро и круто повернул вбок, наперерез пути выползшего из рва человека.

Скоро был Молявка лицом к лицу с этим человеком. Это был на вид оборванный донельзя нищий. Ноги у него были в лаптях, без онуч. На плечах и вдоль тела болтались грязные отрепья — остатки существовавшей когда-то свитки, из-под них виднелось заплатанное грязное белье. Нищий снял дырявую шапку и низко кланялся, увидя подходящего хорошо одетого казака.

— Боже! Який гультіпака! Який бідолага! — говорил тоном сострадания Молявка.— Відкіля ти, чи не з Чигирина?

— Еге! милостивий добродію! — отвечал нищий.— Утік, да вони й самі, правду сказать, пустили, не стали задержувать, бо скоро нічого буде всім їсти і всі підуть так, як я.

— Ходи зо мною, старче божий! — сказал Молявка.— Мені от як стало жаль тебе! Я тебе нагодую, і одягну, і через стан проведу, бо сам не проберешся. Затримають і в полон заберуть.

— Мені, добродію, все рівно. Нехай беруть. Я не мовчатиму, все повідаю, що знаю; до того — не до татар піду, а своїм же християнам оддамся,— говорил нищий.

Он пошел вместе с Молявкою. Доходили до стана. Уже виднелись палатки начальных людей. Сторожа перекликались.

Дойдя до караула, Молявка воткнул на саблю свою шапку, обвязанную белым платком.

— Гасло! — крикнули караульные.

— Свята п’ятниця! — отвечал Молявка. То был дневной лозунг. Его пропустили.

— А се хто з тобою йде? — спрашивали караульные, показывая на нищего.

— Се старець, милостині просить. Бідний, я його з Чигирина з собою взяв, хоче до нас перейти. Я йому милостиню подам.— Потом, обратившись к нищему, Молявка сказал: — Бач, які у тебе погані личаки, скидай їх к злидню, обуй мої сап’янці. Мені тебе дуже жалко стало. Я сам з себе все поскидаю да тебе одягну, бо в мене, дяковать Богу, все є. От і кирея тобі. Скидай свої ганчірки!

Молявка снял с себя коричневого цвета суконную кирею и хотел набросить на плечи нищему. Нищий, словно кто на него кипятком брызнул, отскочил в сторону, потом, приняв вид смиренника, говорил:

— Ох, паночку! Добродію мій! Чи варт я того? Боже, Боже! От Господь послав якого милостивого доброчинця. Далебі се півсвіта сходи, другого такого доброчинця не надибаєш!

Он кланялся в ноги.

— Скидай, кажу, свої личаки, обувай мої сап’янці! — говорил Молявка.

Нищий повертывался туда-сюда и, видимо, не знал, что ему делать.

Молявка крикнул к сторожевым казакам:

— Скидайте, братці, з мене сап’янці і обувайте сього старця, а я в його личаках доплентаюсь як-небудь до Черніговського полку!

— Пане ласкавий, пане милостивий! Не треба! Не треба! — говорил нищий и порывался идти в сторону.

— Ні, треба, старче! — сказал Молявка.— Чуєш, що тобі кажуть: давай мені свої личаки, а сам обувай мої сап’янці!

— Паночку, добродію! — говорил совершенно растерявшийся нищий. — Не хочу, далебі — не хочу! — и с этими словами пустился было скорым шагом уходить.

— Доженіть його, козаки! — сказал караульным Молявка.— Візьміть у його личаки, а йому дайте обутися в мої сап’янці!

Казаки бросились на нищего. Тот, сам не зная, как избавиться от беды, начал уже бежать во всю прыть; казаки догнали его, повалили, сняли с ног его лапти, надели на него "сап’янці" и привели к Молявке.

Молявка достал из кармана нож, разрезал лапти и вынул из них свернутое в тонкую трубочку письмо, засунутое в складки лык, из которых были сплетены лапти.

— Се не про нас писано,— сказал Молявка, развернувши письмо,— сього ми не розберемо! Се, мабуть, по-татарськи або по-турецьки. Да у

нас в полку знайдеться і такий, що прочита. Іди лиш, старче, за мною, до нашого полковника!

— Пане добродію, пане добродію! — возопил нищий.— Я не старець. Мушу всю правду повідати. Я козак Дорошенків. Гетьман чигиринський послав мене в образі старцевому пробратись через ваш стан в степ і подать звістку салтану, що стоїть за Ташликом, щоб швидше приходив з ордою на одсіч. Се Дорошенко свій лист мені заложив у личаки, а я не хотів йти до салтана, а хотів перейти до вас на цареву службу.

— Як тебе зовуть? — спрашивал Молявка.

— Козак Мотовило,— был ответ.

— Добре, що не брешеш,— сказал Молявка,— не бійсь нічого. Іди до мого полковника за мною.

Они пошли. Караульные казаки проводили их несколько саженей, потом воротились назад и смеялись виденному ими событию. Молявка пустил Мотовила вперед себя. Прошедши версты две, они проходили мимо заросли, и Мотовило затеял было броситься в кусты, но Молявка догнал его, схватил за руку и, сняв с себя пояс, крепко завязал ему назад руки.

— Ти, бачу, прудкий, козаче,— сказал Молявка,— да я, мабуть, моцніший од тебе.

И он погнал Мотовила далее, а сам постоянно держался за край пояса, которым были связаны руки Мотовила.

Казаки Черниговского полка, стоявшие на карауле у своей полковой ставки, окликали его, потом, когда он произнес лозунг, пропустили.

— Я,— сказал Молявка,— веду до пана полковника таке дивне звіря, що він зрадіє, скоро побачить!

Молявка привел Мотовила к шатру Борковского.

— Пане полковнику! — кричал он.— Виходь, твоя милость, глядіть на диво дивне!

Борковский тогда только что воротился в свой шатер после осмотра своего полка; услышав голос Молявки, он вышел со своим обычным серьезным видом. Молявка рассказал ему все, что видая в Чигирине, и представил пойманного казака, но не сказал, однако, что ему незнакомый человек в Чигирине заранее сказал про Мотовила, а изобразил дело так, как будто он, Молявка, сам, по собственной смекалке, задержал нищего и вынул у него из лаптей таинственное письмо, написанное на неизвестном для него языке.

Борковский сказал:

— За сю послугу, що ти вчинив всьому війську Запорозькому, наставляю тебе хоружим твоєї черніговської сотні. Зовіть швидше Галана Козиря.

Галан Козырь был родом татарин; в детстве достался он в полон казакам, принял св[ятое] крещение и был записан в казацкий реестр в Черниговском полку. Был он дорогой человек, знал татарское письмо и гордился всегда, когда происходило какое-нибудь сношение с бусурманами.

— Прочитай і переложи! — сказал Борковский этому Галану, когда его привели к полковнику.

Галан прочитал и сказал:

— Дорошенко пише до салтана Нураддина: просить приспішати на одсіч до Чигирина, бо його москалі і барабаші навкруг оступили.

Полковник приказал написать перевод этой грамоты для представления наказному гетману.

Пришел Булавка. Борковский похвалил его шурина и объявил, что повышает его за заслугу войску Запорожскому.

Обрадованный Булавка поклонился, нагнувшись до земли, а Борковский отвечал ему легким начальническим киванием головою.

Принесли перевод перехваченного письма. Борковский понес его Полуботку и прочитал в собрании всех полковников.

— От гарно! гарно! — воскликнули все полковники в один голос.

— Тепер,— заметил гадяцкий полковник Михайло Василевич,— Дорошенко у нас в руках!

— Він здасться! — заметил миргородский.

— Нізвідки йому більш немає надії,— прибавил лубенский.

Полуботок заливался добродушным смехом, потешаясь над промахом Дорошенка.

— Тепер,— сказал он,— послати сказати Дорошенкові, що лист його у нас. Нехай більш не сподівається на бусурманську поміч, а швидше здається, не проливаючи крові, а то як візьмемо його з бою, то вже не буде йому шани!

— Нехай же сей козак, що піймав Мотовила, понесе Дорошенкові знову лист наш, нехай Дорошенко не бариться, а виїздить до нас і од нас їде до пана гетьмана, коли не хоче, щоб ми його взяли, як собаки вовка. Сей козак уже тепер не рядовик, а хоружий. Дорошенко заспесивився, що рядовика до його посилано, і велів через його наказати, щоб ми йому рядовиків не посилали, а посилали б урядових значних. От тепер ми йому з полкової старшини урядового шлем! — говорил Борковский.

— Нехай, нехай! — все в один голос сказали.

Написали грамоту и отправили в Чигирин того же Молявку-Многопеняжного.

VII

Опять, как в первый раз, Молявка вместе с трубачом подошел к воротам нижнего города. Опять Молявка выставил на сабле свою шапку, обвитую белым платком, а трубач протрубил. Отворили калитку в воротах. Объявивши себя полковым сотенным хоружим, Молявка сказал, что у него есть письмо к гетману.

У Дорошенка в Чигирине было два двора: один — новый, им не так давно построенный на горе в верхнем городе, или в замке, другой — в нижнем городе, в так называемом "місті". Последний был его родовой двор. Его строил еще дед Петра Дорошенка, Михайло, бывший потом гетманом, и двор этот переходил из поколения в поколение по наследству. При этом дворе, очень обширном, был также обширный сад, расположенный на берегу Тясмина, за садом — водяная мельница, принадлежавшая Дорошенкам. К этому двору направили тогда чигиринцы посланца. Молявка взошел на крыльцо, поднялся по лестнице вверх и, отворивши дверь, вступил в просторную комнату, уставленную лавками и двумя столами. За каждым из этих столов сидело по канцеляристу; они что-то писали. Писарь Вуехович

расхаживал по комнате. Мол явка почтительно поклонился и сказал, что пришел от наказного гетмана к гетману Петру Дорофеевичу с "листом".

Вуехович узнал его сразу и сказал:

— Аже гетьман тобі наказовав, щоб рядовика до його не посилали, а слали би якого урядового!

— Я тепер уже не рядовик,— сказал Молявка.— Я сотенний хоружий.

— За немалі, певне, послуги тебе так зразу піднесли! — сказал Вуехович, догадавшийся, что повышение этого казака связано как-нибудь с отправлением Мотовила, о котором Вуехович приказал тайно сообщить этому казаку.

— Про те владза знає! — сказал Молявка.

Вуехович с "листом" вышел. Молявка несколько времени стоял, оглядывая покой, куда вошел. Канцеляристы продолжали сидеть и строчить какие-то бумаги. Один из них как-то приподнялся, и Молявка узнал в нем того самого, который в первый его приход, поговоривши с Вуеховичем, подбежал к нему и сообщил о Мотовиле.

Молявка не смел начать с ним разговора, как вдруг тот сам, улучив минуту, когда Молявка, расхаживая по покою, приблизился к столу, за которым канцелярист писал, и спросил его:

— Вашець прошу, чи не знаєш, вашець, нашого товариша Кочубея, що наш гетьман посилав до Царгорода, а у його челядник покрав папери, то він побоявся нашого гетьмана і втік до вашого. Кажуть, йому добре у пана гетьмана Самойловича?

— Я його особисто не знаю,— отвечал Молявка,— а чув, що йому коло ясновельможного добре поводиться.

— І Мазепа, наш прежній писар, кажуть, великий чоловік у Івана Самойловича. Усім добре тим, що од нас до його перейшли. Хороший дуже ваш гетьман. І наш Вуєхович-писар того тільки і бажа, аби наш ясновельможний свою булаву зложив і гетьманство здав. І ми всі об тім тільки Бога молим, щоб те швидше сталось.

Вошел Вуехович с озабоченным видом.

— Пан гетьман,— сказал он Молявке,— велить тебе, мій голубе, до мене взяти на господу, поки одповідь дасться.

Вуехович отвел Молявку в свой дом, находившийся рядом с двором Дорошенка, и на дороге спросил Молявку:

— Поклонився від мене Борковському?

— Поклонився,— отвечал Молявка,— і по сьому поклонові мене піднесли в хоружі.

— Тепер,— сказал Вуехович,— нашому гетьманові той найщиріший приятель і правдивий добродій, хто його доведе до того, щоб він поклонився Самойловичеві і гетьманство своє з себе скинув. Бо нікуди, нікуди нам діться!

Оставив в своем доме Молявку под опеку матери своей, Вуехович воротился во двор Дорошенка.

Дорошенко, узнав из письма Полуботка, что Мотовило схвачен и последняя попытка упрямиться не удается, пришел в большую досаду и более всего сердился на Яненченка, своего шурина, и на других, которые вместе с гетманским шурином уговорили его сделать последнее усилие и послать еще раз к татарам просьбу о помощи. Действительно, гетман не хотел этого делать, но поддался советам и настойчивости других, как и прежде бывало с ним такое нередко: не

хочет, противится, а потом поддается и снова сердится на тех, которых послушался. Таким выработало его ужасное положение Украйны, когда глава этой страны сам не знал, за что ему схватиться и что избрать за лучшее. Но никогда не поступил Дорошенко так опрометчиво, как теперь, послушавшись совета своего шурина и других, не расположенных покоряться левобережному гетману, а этого-то именно, во что бы то ни стало, требовало московское правительство. Долго уже водил Чигиринский гетман Самойловича и Ромодановского обещаниями исполнить царскую волю и только обманывал их, а сам между тем все-таки продолжал сноситься с турками и татарами. Теперь, когда вся область, управляемая Дорошенком, почти опустела и взять его самого в Чигирине было нетрудно, последнее спасение зависело от того, чтобы его покорность царю, хотя напоследок, могла представиться сколько-нибудь искреннею,— и в это-то время новое сношение с татарами должно было окончательно раздражить тех, от которых зависела его будущая судьба.

Коварство его было открыто. Дорошенку более чем когда-нибудь приходилось отдаться, и теперь думал он только о том, как бы сдаться с тем условием, чтоб ему была прощена вместе с прежними винами и эта последняя выходка. Он, получивши "лист" Полуботка, принесенный новопоставленным сотенным хоружим, приказал созвать к себе свою немалочисленную родню и тех старшин, которые еще оставались ему верными. Место сбора указано было не у него, а у его матери, которая жила в том же дворе, но в особом доме, построенном в саду. Дорошенко очень уважал свою мать, хотя часто досаждал ей своим вспыльчивым нравом, а потом просил у нее прощения и мирился с нею. Это была высокорослая сгорбленная старуха с трясучею головою; на ее лице, искаженном летами, виднелись еще следы былой красоты, а когда-то эта старуха считалась первою красавицею между Чигиринскими дивчатами и потому в оное время досталась в замужество первому молодцу в Чигирине, Дорошу Михайловичу, сыну когда-то бывшего гетманом Михайла Дорошенка, статному, богатому, умному, как о нем все говорили. Этот Дорош, посланный Богданом Хмельницким в Варшаву, так умел там блеснуть своим природным умом, что поляки,

несмотря на изуверную свою тогдашнюю ненависть ко всему русскому, наградили его шляхетским достоинством, хотя он не показал им ни малейшей охоты изменить казацкому делу и еще менее православной вере. С ним, с этим Дорошем, прожила она двадцать один год и народила ему сыновей и дочерей.

По смерти его она осталась полновластною хозяйкою и главою семьи. Возникавшая нередко между этой старухой и старшим сыном Петром безладица происходила из-за жены Петровой, Ефросинии Павловны, из рода Хмельницких, с которою Петро, однако, соединился браком по совету матери, находившей полезным для своего сына посвоиться с родом, считавшим в числе своих членов знаменитого Богдана. Это была, впрочем, вторая жена Петрова: с первою жил он недолго, имевши от нее одну дочь, которую потом выдал за Лизогуба. Отец второй жены Петровой — Павло Яненко-Хмельницкий, приходившийся троюродным братом Богдану, отдал за Петра Дорошенка дочь свою против ее воли: Приська любила уже другого, плакала, умоляла отца не губить ее, не отдавать за нелюба, но отец не послушал ее, увлекся тем, что будет считать гетмана своим зятем, и насильно повел ее к венцу. Зато с первых же дней супружества молодая Дорошенчиха объявляла своему мужу, что любить его никогда не будет, и особенно возненавидела свою свекровь, так как знала, что последняя настаивала, чтоб ее сын женился на Хмельницкой. Невестка во всем перечила старухе, а старуха ни в чем ей не смалчивала. Петро думал всеми способами угождать жене, чтобы через то приобресть ее любовь, и в спорах ее с его матерью постоянно принимал сторону жены. От этого происходили между сыном и матерью возмутительно бурные сцены, только и возможные в таком обществе, каким было тогда казацкое, где вспыльчивые натуры не умели себя сдерживать.

Вскоре, однако, гетманша вывела из терпения и своего мужа. Было это в то время, когда гетман Дорошенко отправился в поход на левый берег Днепра, где свергнул с гетманства и отдал народу на расправу Бруховецкого. Оставшись без мужа, Дорошенчиха сошлась с прежним своим возлюбленным, но свекровь, проведавши об этом, тотчас дала

знать сыну,— и это, как известно из истории, было поводом того, что Дорошенко поспешил воротиться в Чигирин и не окончил затеянного им дела. После того он вместе со своим тестем засадил жену в монастырь. Успел ли ускользнуть от его расправы возлюбленный Дорошенчихи — мы не знаем. Она просидела в монастыре несколько лет и научилась там пить. Дочь ее, оставленная в младенчестве, вырастала без матери, тосковала об ней, беспрестанно надоедала отцу расспросами о матери, и гетману стало жаль жены. Он поехал с дочерью в монастырь простить жену за прежнее, взял с нее присягу, что она будет ему верна, и позвал снова к себе в дом. Недолго Дорошенчиха жила покойно: начались у ней опять ссоры со свекровью, а привычка напиваться, усвоенная в монастыре, не только не оставляла ее, но еще усиливалась. Петру то и дело приходилось мирить жену с матерью, читать жене нравоучения и от нее выслушивать упреки, что он загубил ее молодость. Она и теперь, как ранее, смелю и искренно высказывала ему и постоянно твердила, что не любит его и любить никогда не будет.

Но не только из-за жены происходил разлад у Дорошенка с матерью; не ладила мать с ним и за его дружбу с бусурманами. У Дорошенка с детских лет до старости жива была глубокая детская вера в силу материнского благословения, и он не мог никогда относиться к матери так, как большая часть казаков относилась тогда вообще к женщине, под каким бы видом ни было женское естество для них; не мог он сказать: "Ты мать, но ты баба, я тебя уважаю, но ты знай свои бабьи дела, а в наши казацкие не мешайся!" Напротив, у Дорошенка не было тайн от своей матери, и никакого дела, никакого похода или союза не предпринимал он, не испросив у матери совета и благословения. Когда задумал он отдаваться под протекцию турецкого падишаха, мать не дала ему благословения, но он тогда матери не послушал и потом сваливал все на старшин и на казацкую раду, извиняя себя тем, что гетман не самовластный государь и должен поступать так, как приговорит все войско Запорожское. Когда турецкая протекция начала оказывать неизбежные последствия и падишах потребовал от своего нового "голдовника" набора детей в янычары, а Петро хотел было уже исполнить повеление властителя, старуха до такой степени пришла в

негодование, что начала проклинать сына, а вспыльчивый Петро пришел в такую ярость, что запер мать под замок и держал несколько часов, как невольницу, но потом одумался, просил у ней прощения за свою горячность, поклялся ей, что будет стараться отрешиться от бусурманской власти и поддаться православному государю. И с этой поры, действительно, Петро Дорошенко охладился к союзу с бусурманами и пытался сойтись с Москвою. То было желание как его матери, так разом с нею и всего народа, который, спасаясь от бусурманского господства, бежал громадами за Днепр искать новоселья в областях православного монарха. И Петро не прочь был от подданства царю московскому, но все-таки хотелось ему учинить это подданство на таких условиях, которые бы ему и всей Украйне давали наибольшую степень самобытности и независимости, и немало хитрил и вилял он. Потерял он все подвластное себе население, остался только с одним Чигирином, и то сильно обезлюденным; приперли его, как говорится, к стене московские и казацкие силы. Не удалась ему и последняя попытка пригласить крымского салтана и заставить Самойловичевых казаков отступить от Чигирина. Петро Дорошенко, собрав всю родню, приходит к матери, склоняет перед нею колени и говорит:

— Мати! Востаннє благослови на добре діло: вийти з усіма чигиринцями і положити бунчук і булаву на волю царського величества!

— Кільки років чула я від тебе про сеє, і скільки разів давав ти обітниці, а напотім опять бусурмана до себе на поміч кликав! — сказала с чувством скорби мать.

— Не раз! — сказал Дорошенко.— Говорив я тобі, мати, що діялось те ради віри християнської і народу благочестивого, щоб вольності його зберегти.

— Хороші вольності придбав ти йому, народові сьому! — сказала мать.— Загонять православних християн в кримську неволю, як череду, — от славні вольності!

— Твоє діло, мати, благословити, а ми вже самі знатимемо, як нам поступовати,— сказал Петро.

— О Господи, Господи, за що ти покарав мене, грішну, що я породила таку потвару! — вопила старуха.— Проклинатимуть, Петре, тебе многі душі християнські, і внуки і правнуки на тебе жалітимуться і плакатимуться. Що ти думаєш? Чи ти над собою страшного суда божого не чаєш?

— От і пішла, і пішла, мати, прежній молебень правити! — сказал с досадою Петро.— Авжеж, не вернеться те, що пройшло! Батько Богдан Хмельницький недурно казав: при сухому дереві і живе запалюється!

— Се треба занехати,— отозвался Павло Яненко, тесть Петров,— не про те річ: чи добре, чи недобре ми перше учиняли. Він кається. Він, свахо, у тебе благословенія прохає на добро, так що вже його колишнім дорікати!

— Схаменулись ви, да чи не пізно! — сказала старуха.— Що то цар тобі тепер скаже? Скільки років його дурили! На Сибір тебе зашле. Туди б тобі і слід, аби мого бідного, коханого Гриця вернули!

— Ти, свахо, за Грицем зажурилась; Гриця тобі жалко, бо Гриця при тобі немає,— сказал Яненко.— А коли б Гриць повернувся, а замість Гриця Петра заковали в заліза, то б і за Петром убивалась ти, як за Грицем тепер убиваєшся. Хіба Гриць того не робив, що Петро? А вже ми всі одним миром помировані! Всі погрішили проти царя православного і проти усього миру християнського. І я з вами теж. Ударимо ж самі себе у груди і покаємось. Може, милосердий цар простить!

— Здається, уже часу не маєш! — сказал сын Яненка.— Мотовило, що посланий був до салтана, попався барабашцям у неволю, і лист гетьманський у його взяли. Знають уже, що посилали-сьмо знову звати

кримців. Сього нам не пробачать. Тепер якраз, як говорить стара, на Сибір гетьмана зашлють.

— А який чорт нагадав того Мотовила посилати, коли не ти, Яцько, з своїми приятелями? — говорил с чувством огорчения Яненко.— Я казав: не треба, і гетьман не хотів, так ви його збили з путі!

— Недобре зробили, що Мотовила послали,— произнес Петро,— а ще гірше нам те, що Мотовило попався. Тільки тепер мені Полуботок пише, коли я не стану бариться і вийду до їх зараз, то вони Мотовила випустять і про лист наш, до салтана писаний, московському гетьманові не об’являть.

— Потурай! — сказал Яненченко.— Тільки вийдеш, так усіх нас у кайдани заб’ють да у Москву зашлють.

— Обіцяє Полуботок і лист наш до нас вернути,— сказал Петро.— Ось читай, що вони написали нам.

— Одначе не прислали! — возразил Яненченко.

— Пришлють,— сказал, с решимостью выступивши, Вуехович.— Присягаюсь на тім, що пришлють і гетьманові московському не скажуть. Люди наші.

— А ти почім знаєш? — сказал Яненченко.— Хіба вже з ними змовився: соболів московських захотів!

— Ти мене, Якове, соболями не урікай,— сказал с видом достоинства Вуехович.— Молодий ти ще, щоб мені таке завдавати. Я над твого батька старший літами, а не те що над тебе, хлопця!

— Мій писар вірний мені чоловік,— сказал Петро.— Я не дозволю на його порікати.

— Не дозволиш, то й добре йому,— возразил Яненченко.— На те гетьман єси. І про Мазепу казав ти колись, що вірний тобі. А Мазепа тепер перший чоловік у гетьмана-поповича став.

— А що ж робити, коли так склалось,— произнес Петро.— І Мазепу не виновачу я. Не класти було йому шиї під обух. Я б і сам так зробив, як Мазепа, якби на його місці був. Ті полковники, що від мене відцурались, більш виноваті. А всьому початок положив зять Лизогуб, що перший з них підлизався. Ті всі гірш мені зашкодили, ніж Мазепа. Да я тепер нікого не виновачу, бо їм нічого було більш робити. Бачили вони заздалегідь, що з сього усього нічого не виникне, окромя лиха. Я один винен, що не послухав їх доброї ради і на бусурманів понадіявся!

— Мазепа мені великий приятель був,— сказал Вуехович.— І тепер, сподіваюсь, таким зостався. Пошлемо до Самойловича посланців, а я лист до Мазепи напишу і прохатиму, щоб за нас заступився перед гетьманом. А Мазепа у Самойловича велику силу має. Да він такий розумний, що і з Москвою знатиме, як повестись. Він усе поробить нам як слід і улагодить.

— Так, так! — говорил Яненченко.

— Се такий шельмованець, що кого схоче поведе і проведе і в провалля заведе. Він підлестився до нашого гетьмана, а як побачив, що сонце йому вже не так світить, як перше світило, так зараз ізрадив свого добродія, тепер підлестився до поповича, а коли прийде час, і того зрадить. Отакий-то ваш Мазепа.

— Кого ж пошлемо у посланцях до Самойловича? — спрашивал Петро.

— Мене, пане гетьмане, посилай! — отозвался Кондрат Тарасенко, племянник старой Дорошенчихи, быстроглазый, черноволосый молодец, вскочив со своего места.

— Добре! — сказал гетман.— Ти, козаче, не дурень єси і на річі мастак. А другого кого ж пошлемо? Другий нехай їде сам Вуєхович, коли він сподівається урештовать усе через Мазепу, свого давнього приятеля. Я прийду до Самойловича і до Ромодана, нехай тільки перед вами вони заприсягнуться, що мені нічого не буде, і всіх наших зоставлять на своїх прежніх мешканнях жити, і всі мої вини, що я проти царя учинив, простяться і на пришлий час не споминатимуться. А я заприсягну не втручатись у жадні козацькі справи і стану жити вцалє приватною особою. Ви з Тарасенком дайте за мене таку обітницю, а від них привезіть мені в листу таку, як я кажу і бажаю.

— Не повірять вони сьому,— сказал судья Уласенко,— скажуть: не перший раз обіцялись, а не виконали своїх обіцянок.

— Що ж нам діяти? — сказал Дорошенко.— Бач, Воронівка, Черкаси, навіть Жаботин і Медведівка — усі відчахнулись од моєї владзи. Уже тільки чигиринці да охоче військо тримаються ще за мене, да й ті незабаром одійдуть, бо вже охотникам показав дорогу Мовчан. Нехай так робиться, як Вуєхович казав. Благослови, мати!

— Як до царя подаваться, так тоді матчиного благословення треба, а як з бусурманами водитись, так тоді матчиної ради не слухаєш. Інші порадники єсть на те! — говорила с выражением горечи и озлобления старуха.

— Хіба я, мати, не прохав твого благословення, як турка під Каменець звав і як Мазепу посилав? — говорил с выражением укора Дорошенко.

— Не благословляла я тебе. Перший раз що моє благословення чи неблагословення варто було, коли найперший владика митрополит благословив тебе на приязнь із турком. А в другий раз я не те що не благословила тебе, а ще кляла, а ти так розлютовавсь, що аж руками на мене замірявся і замкнув мене, ніби яку злодіюку!

— Мати! — жалобно произнес Дорошенко.— Аже ж я каявся перед тобою і вік свій каятимусь. Сам Бог прощає покутуючих грішників.

— Тільки не таких, що, як собака, на блюваки свої обертаються, як кажуть святі отці. Твоя покута — шкілювання з Бога, а не щира покута,— говорила старуха, более и более раздражаясь.

— Пішла, пішла, стара! — с досадою вскрикнул Дорошенко.

— Еге! — продолжала раздраженная старуха.— Стара вона стала, тая, що тебе породила і вигодувала! Розум через старощі утратила. Що ж? Молодої слухай! Що вона тобі в гречку скаче — се нічого. Було Хомі, буде ще й тобі!

— Ти, стара, на кого се натякаєш? — обозвалась жена Петрова, все время сидевшая молчаливо и как бы дремавшая после порядочного, как видно было, излияния в себя винного пития.— Нічого мене їсти і попрікати! Який зо мною гріх не стався, я його спокутовала не за один рік!

— Спокутовала! — возразила старуха со злобным смехом.— З черницями, а може, і з ченцями розпилась. Бач, і тепер очі залиті.

— Через кого я така стала, як не через тебе, стара! — говорила, порываясь с места, Петрова жена.— Все через тебе! Як я заміж вийшла за твого сина, так з першого дня як почала ти мене клювати да гризти да чоловікові на мене наговорювати, аж поки не засадили мене в монастир. А тепер досадно тобі, що опять мене взяли до себе жити.

— Пріська, буде! — грозно заметил ей отец ее, Павло Яненко.

— Пріська, годі тобі! Утихомирся,— таким же тоном проговорил ей Петро.

— Чого там "буде та годі"! — говорила раздражившаяся Приська.— Чого ви на мене гуртом нападаєтесь? Самі у гріх увели та й гризете!

— Як ми тебе у гріх увели? — повышая голос, говорила старуха.— Хіба з нас хто направив тебе... Пам’ятаєш, як тебе уловили з молодцем та написали твому чоловікові. О негідниця! Сама ти в гріх ускочила, не боячись Бога і людей не стидячись.

— Хто мене у гріх увів, питаєте ви? — говорила Приська.— Батько, рідний батько, що оддав мене силоміць за нелюбого. От хто мене у гріх увів спочатку. Я не хотіла йти за Петра, а мене ґвалтом узяли і повезли у церкву вінчатись. Петро знав, кого брав. Хіба він кохав мене? Якби я не Хмельницького роду була, то він би і не здумав мене брати, а якби взяв, то давно б мене зарубав.

— І давно було б треба! — с гневом сказал Петро.— Зробить би з тобою, як зробив Богдан з своєю другою жінкою! Ми ж, бач, з батьком твоїм посадили тебе в монастир, щоб ти одумалась і спокутовала. Ти ж, бачу, все ж така ж, яка й була.

— Атож! Олії з мене не виб’єте. І до смерті буду все така,— говорила крикливим голосом все более и более раздражавшаяся Приська.— У гречку скакала та ще скакатиму. От що! Ось поїдь, Петре, відсіля місяців на два або на три. Побачиш тоді, чого я тут нароблю!

— Цить, навіжена! — крикнул на нее Петро.— Хіба схотілось знову під чорний каптур? Добре, мабуть, випила!

— А що ж? — говорила с жаром Приська.— Випила! Тобі можна, а мені так ні! Ти, гетьман, позавчора накликав музики та пішов по шинках танцювати, а я, гетьманша, зберу жінок та козаків і піду по улиці. Отак! — При этом она сделала круговорот своим телом.— Що мені зробиш? — продолжала она, доходя до исступления.— В монастир засадиш?

Садови! Заріжеш, може? Ріж! Я тебе не любила, не люблю і ніколи не любитиму!

— Нехай тобі лихо! — сказал Дорошенко.— Хіба я тебе люблю? Держу тебе того ради, що дочка мала єсть. Да і те: яка ти ні єси, а все ж таки ти мені жінка вінчана. Тим і держу, хоч не хочу.

— І держиш, і держатимеш, мій голубе! Хоч хочеш, хоч не хочеш; взяв, так і терпи всі мої вибрики! — говорила, заливаясь ироническим смехом, Приська.

— Дочко! угомонись! — наставительно говорил ей отец.

— Не гримай на мене, батечку! — отвечала ему Приська.— Навіщо оддав мене за нелюба, а не за того, хто був мені милий!

— Чорт тебе знав, хто у тебе милий був! — заметил Дорошенко.

— Нема вже його, нема! — говорила Приська.— Тепер кого нагибаю на дорозі да сподобаю, той мені й милий. Багато милих буде! Що день, то один милий, а на другий день — інший милий. От яка я. Петро се добре зна.

Мать соскочила с места и закричала:

— Петре, сину, забий їй рот, щоб не верзла такого. Боже! Якого сорому довелось наслухатись від невістки!

— Пріська! — закричал, топнувши ногою, Петро,— не роздратуй мене. Не вдержусь, битиму!

— А я тобі дам дулю під ніс,— сказала Дорошенчиха.— Ось глянь, яка дуля! На! Покуштуй, мій голубе.

— Дочко! — громко крикнул отец, бросившись на дочь.

— Пріська! — крикнул Дорошенко и схватил ее за руку.

Приська посмотрела на него с видом, вызывающим к себе сожаление.

— Пріська! — продолжал Дорошенко.— Йди собі в свою комірку та виспись. Бо ти, бачу, вже чимало випила. Хто се їй горілки приніс?

— Сама узяла у тебе в шкапчику. Найшла та й напилась, сказала Приська.

— Йди, йди! — говорил Дорошенко, улыбаясь и стараясь показать, как будто все обращает в шутку.— Йди, серце, коханко!

Приська пошла в двери, подскакивая и припевая:

І бив мене муж, волочив мене муж,

Ой бив і рублем, ще й качалкою,

А і к світу назвав ще й коханкою!

Она скрылась.

— Нехай іде собі та виспиться,— сказал Петро.— Лихо з такою малоумною жінкою! А подумаєш: чим винна вона, що їй Бог розуму не дав! От тепер, здихавшись її, почнемо знову про діло наше!

— Зятю! — говорил Яненко.— Сі москалі далебі не такі страшні і люті, якими тут у нас здаються. Я пригледівсь до них, як був у Москві. Прийняли мене ласкаво, до самого царя водили до руки... І церкви у їх

такі ж, як у нас, християнські, тільки багатше і краще наших. З Москвою в братерстві жити нам згод піше, ніж з бусурманами. Бо вже ми досвідчили, що то єсть побратимство з кримцями і з турком. Що нам бусурмани вчинили? Тільки Украйну спустошили! Яких не побили, ті повтікали. Куди нам тепер подітись? Не шукать милості у тих же бусурман, да й те, бач: ми вже прохали, так не дають більш, тільки нас манять. Один раз помогли, у ляхів собі Подолля забрали, та й годі. Уже ж не до ляхів нам тулитись.

— А чому ж не до ляхів? — сказал Шульга, полковник охочих казаков.— Отепер би з ними краще було поєднатись. Якби вони побачили, що ми тепер лєпше до них, як до Москви, привертаємось, то б їм прийшлось дуже по душі.

— їм би, може, прийшлось по душі, та нам не по нашій шкурі! — сказал Дорошенко.— Ні, Шульго! Сього вже удруге і втретє не повторяй. Ніколи, поки світ сонця, козак з ляхом не зійдуться.

— Сто чортів їх батькові і матері, тим ляхам-бісам! — воскликнул обозный Бережецкий.— Тільки моя така щира думка, що, відцуравшись від ляхів, не приставати до Москви, на її підмову не піддаватись, а славне військо Запорозьке низовеє— от наша надія! О, якби ми трималисъ всі вкупі: не те, що ляхи — і москалі не побороли б нашої козацької сили.

— Добра твоя річ,— сказал судья Уласенко,— тільки якби років хоч десять попереду була проказана. Бо вже тепер Україна через нутряні свої розрухи ні на віщо звелася.

— Ми з військом низовим єднали-сьмо,— сказал Дорошенко.— І перед кошовим присягу цареві виконали. Так Москва тієї присяги не поважає, і бояре її не хочуть, кажуть, щоб виконали ми присягу перед Самойловичем і перед Ромоданом, а не інак. Що робити! Не хотілось нам коритись перед поповичем, да нічого не вдієм. Не поповичеві

поклонимось, а цареві, що його наставив і посилає. Учиню так, як цар велить, а опісля не маю кновать нічого. Житиму в приваті тихо-мирно. Що там робитиметься,— мені все байдуже! Нехай тільки мене вже не займають і всю родню мою, і при нашій худобі нас нехай зоставлять. З нас і буде! І поповичеві годитиму. Що захочуть, нехай витворяють надо мною: сількісь! Все терпітиму! Багато я погордував над людьми на своєму віку. Покаятись при кінці віку хочу. Аже кажеться: в терпінні стяжите ваші душі! Мати, благослови!

— Аби тільки за перші злі учинки не взявся,— сказала старуха.— А на добрі я благословляю.

Мать со слезами на глазах встала со своего места, сняла со стены висевший образ Спасителя в терновом венце и, осенив им склонившего перед нею голову сына, произнесла:

— Сину мій любий, сину первородний! За все, чим проти мене погрішив єси, я тебе прощаю і благословляю на життя нове. Пошли тобі, Господи, здоров’я і щастя!

После этой семейной сцены Дорошенко велел позвать привезшего Полуботков "лист" посланца. Привели Молявку.

— Скажи мені правду, козаче, да тільки щиру правду, як перед Богом. Не відбріхуйся,— говорил ему Дорошенко.— А я тобі даю справедливе слово гетьманське: не буде тобі нічого злого. Ти піймав мого Мотовилу? Не бійсь, кажи просто.

— Я, пане гетьмане! — отвечал Молявка.

— Я так і думав,— сказал Дорошенко.— Бо за віщось нолике тебе зразу так піднесли, що з простого рядовика хору жим сотенним учинили. Як же ти його піймав? Чи дав тобі хто про його зарані звістку?

— Вийшовши з Чигирина, угледів я, що якийсь бідолашний старець виліза крадькома з города. Підзорно мені те здалось. Я догнав його. Подаровав спершу йому своє одіння і сап’янці, а у його взяти хотів, що на йому було. Він не дався. Годі я догадався, що тут щось є, позвав козаків, роззули його, і я з личаків вийняв лист.

— Кажи правду,— заговорил Дорошенко.— Мотовила не посилано до московського гетьмана?

— Ні. Сидить у Борковського за сторожею,— сказал Молявка.

— І листа мого не посилано до московського стану? — спрашивал Дорошенко.

— І листа не посилано,— отвечал Молявка.

— Я,— сказал Дорошенко,— пошлю Вуєховича і Тарасенка до обозу пана Самойловича і Ромодана: нехай умову підпишуть і присягнуть обопільно. Тоді я до їх приїду гетьманство своє здавати. А тим часом, поки мої вернуться, ти зостанешся аманатом. А Полуботок нехай мого Мотовила пришле до мене і лист той мій, що перейнято. Я тоді разом з тобою до їх виїду!

VIII

В казацком стане в шатре наказного гетмана Полуботка собрались все пришедшие под Чигирин полковники. Перед этим собранием, сидевшим за столом, стояли Дорошенковы посланцы Вуехович и Тарасенко. Они объясняли полковникам, что отправка Мотовила учинена была Яненченком мимо воли и ведома гетмана, уверяли, что с Яненченком в соумышлении немного неопытной молодежи, которая сама не знает, что делает, а большинство чигиринцев заодно с гетманом стоит твердо на том, чтобы искренне, без обмана покориться. Вуехович умолял полковников поступить в этом случае по-товарищески,

не сообщать о перехваченном "листе" Косагову, простить неразумную молодежь и не думать, чтоб Дорошенко участвовал в таком коварном замысле, а Дорошенку отослать и Мотовила и взятый у него в лаптях "лист". Тогда Дорошенко немедленно приедет к ним в стан. Полуботок отвечал, что все сделается так, как желает Дорошенко, только пусть Дорошенко немедленно после отправки к нему Мотовила с "листом" приезжает в московский стан на речку Янчарку и там пред всеми положит свои клейноды, а потом поедет в главный обоз к Ромодановскому и Самойловичу. Полковники тотчас приказали возвратить Дорошенку "лист" перехваченный и препроводить Мотовила в Чигирин, а Вуеховича и Тарасенка отправили к Косагову, от которого те уехали в главный обоз к Самойловичу и Ромодановскому.

Между тем новый хоружий черниговской полковой сотни сидел в доме Вуеховича, которого мать, по приказанию сына, угощала со всевозможным хлебосольством. К концу дня сказали Молявке, что его зовет гетман. Он вышел за ворота двора Вуеховича, но там ожидали его Яненченко и приятель последнего, бывший медведовский сотник Губарь.

Яненченко сказал Молявке:

— Ти піймав Мотовила?

— Я,— ответил Молявка.— Я вже повідав самому ясновельможному.

— Чи ти козак правдивий, чи, може, московський шпиг? — спрашивали его.

— Я — козак правдивий! — отвечал Молявка.

— Так слухай,— сказал Яненченко,— не всі у нас такі ледащі, як наш гетьман, що старого бабського черевика не варт. Не над козаками йому гетьмановати, а свині пасти. Без Дорошенка знайдемо собі іншого

гетьмана. Чутка у нас права, що турський цар, довідавшись про Дорошенкову зраду, нарік гетьманом сина славної пам’яті Богдана Хмельницького Юрася, пожаловав його князем Малоросійської України, і велів одягнуть його у каптан і берет йому дати. Ми до його пристанем, коли з’явиться з турським незвитяжоним військом. Людей хоробрих, розумних і сталих нам треба. Відпокутуй вину свою, що вхопив нашого чоловіка в неволю. Приставай до нас. Зоставайся з нами, відступись од московського царя і присягни служить Богданову сину. А коли не захочеш так учинити — світу божого більш не побачиш! Тут зараз тебе і смерть постигне.

— Не те, що до вас пристану,— отвечал Молявка,— а намагаюсь наших полчан черніговських і других, як прилучиться, відвернуть од регіменту Самойловичевого.

— А брешеш, сучий сину! — сказал Губарь.— З ляку за свою душу нам се ти кажеш! Відкіля се воно так сталось, що позавчора, слугуючи вірно гетьманові-поповичеві, ти полонив нашого чоловіка, а сьогодні вже єдної думки з нами став. Брехня, брехня, не піддуриш нас! Думаєш як-небудь вишмигнуть від нас, а потім доведеш про нас!

— Ні, панове,— отвечал Молявка,— не хочу вас піддурювать, з щирого серця вам кажу. Хіба, ви думаєте, у нас на лівому боці забули про батька нашого Богдана? Хіба годі про його забудуть, як уже ні одного козака там не зостанеться! Поки світ сонця — пам’ятатимуть і згадуватимуть його, і синові його слуговати раді будуть мало не всі. У мас якби просто ректи: отступіться од царя да приставайте до турка або до ляха, то правда — мало б знайшлось охітних. Або так сказати: відречіться од регіменту Самойловичевого, нехай буде вашим гетьманом Дорошенко, або Ханснко, або хто інший, хоч би хто з ваших мостей, то ледве би на те пристало багато. А Хмельницького імено — велике то слово! Тим і я, панове, як тільки сказали ви, що турецький цар наставляє Хмельниченка не тільки що гетьманом, а ще князем, зараз Бог зна як зрадів і з першого слова сказав, що хочу йому вірно слуговати! У нас, панове, давно така гадка між народом ходить, що

коли-небудь прийде Юрко Хмельниченко відбирати свою батьківщину, і тоді всі до його пристануть, і вся Украйна поєднається, і не буде над нами ніякого чужого панування, ні московського, ні лядського, а своє власне буде, і усім лихам кінець прийде, і щастя Бог дасть людям своїм.

— Якби ми про Хмельниченка тобі не сказали, то б таки ти усе згодився мальованим способом на всяку нашу думку, аби тільки від нас вирваться. Бо ми тобі сказали, що смерть постигне тебе, коли не згодишся,— заметил Губарь.

— Ми тебе тільки так дражнимо, а ми тебе зараз поведем та розкажемо тебе розстріляти як московського шпига.

— Не злякався я, бо на те я козак,— говорил Молявка.— Чи можна козакові смерті боятись? На тім козацьке життя стоїть, що видюща смерть у його на кожнім кроку. Не вірите мені — ведіть розстріляйте. Коли-небудь умирати треба. Хоч десять літ, хоч двадцять — а все-таки коли-небудь смерть прийде. Вічно не житиму. Розстріляйте мене, коли не вірите, а я вам правду сказав: як ви мене питали, так я вам і казав, як думаю. Я перед вами на святім хресті і на Євангелії присягнусь, що вірно слугуватиму Богданову синові. А не вірите, розстріляйте мене.

— Губарю! — сказал Яненченко,— поклич Остаматенка. Нехай перед нами трьома присягу виконає. Люди нам потрібні.

Губарь быстро побежал. Молявка стоял молча в раздумье, ожидая своей судьбы.

Яненченко первый прервал молчание и начал бранить Дорошенка. Молявка только слушал. Скоро воротился Губарь с новым лицом, в котором Молявка узнал того самого канцеляриста, который в первый приход в Чигирин сообщил ему, по приказанию Вуеховича, о Мотовиле. Молявка тотчас смекнул, что у этих господ, от которых теперь зависела его участь, что-то между собою не ладно и один под другим роет яму.

— Сей козак до нашої думки пристає і хоче нам в пригоді стати,— сказал Яненченко. Затем он рассказал предложение подговаривать левобережных казаков в пользу Хмельниченка.— Чи приймати його до нашого гурту, чи, може, розстріляти як московського шпига? Як думаєте, пане Остапе? — спрашивал он далее.

— Я так думаю, що приймати його до гурту. Нам людей треба,— отвечал новоприбывший.

— А Дорошенко, скурвий син, нехай віється ік дідьку! — начал снова Яненченко.— Нехай покуштує московського кнута, як Демко Многогрішний, що одібрав добру нагороду за свою вірную службу цареві.

— Хіба один тільки Демко! — заметил Молявка.— А Яким Сомко, а Васюта Золотаренко, а Оника Силич? А Мефодій архирей? Уже хто Москви прихильнішим був, як той архирей. А як йому за те Москва оддячила! Що казати? Мало хіба нашого люду запропастила проклятуща Москва! У нас така чутка досі ходить, що і самого батька Богдана Москва завчасу з світа білого звела: отрути, кажуть, йому поддали за те, що боярам не хотів годити. Московський цар тільки що зоветься і пишеться самодержець, а править не він. Всім заправляють і роблять, що хочуть, бояре, а цар тільки спить да їсть і п’є всласть.

— Правду говориш, товаришу! — сказал одобрительным голосом Яненченко.— Ходім же у церкву, там заприсягнешся. У нас єсть і піп такий, що з нами єдиної згоди.

Заговор о приглашении Юраска Хмельницкого уже зрел в Чигирине, хотя и не слишком еще распространился. Соумышленников у Яненченка было, может, каких-нибудь десятка три. В числе их был один из Чигиринских священников. Это был прежде казак-запорожец, учился он когда-то в бурсе, а потом воевал несколько лет с запорожцами по степям и рекам; за какое-то преступление в коше хотели было его

заколотить палками; он впору убежал из Сечи, явился к митрополиту Тукальскому и просил посвятить его в попы. Случаи были в те времена не редкие, что казаки, прежде отличавшиеся достоинствами войсковых людей своего века, поступали в духовное звание. Митрополит посвятил и этого казака и назначил вторым священником при одной из Чигиринских церквей. Его-то сманил на свою сторону Яненченко. Все четверо пришли к этому попу и просили привести к присяге новобранца. Поп вышел из своего дома; он, остерегаясь, чтоб не заметил и не узнал о происходящем главный священник того храма, где этот поп числился только вторым, провел казаков в церковь, приказавши им идти не вместе, а врозь. Когда сошлись в церкви, Молявка перед крестом и Евангелием произнес присягу со слов Яненченка и в этой присяге давал пред лицом вездесущего Бога обещание отступиться от московского царя и служить верою и правдою Георгию Гедеону Венжику Хмельницкому, гетману и князю Малороссийской Украины.

Между тем привезли к Дорошенке Мотовила с перехваченным "листом" и вместе с тем письмо от Полуботка: наказной гетман приглашал Дорошенка нимало не медля ехать по своему обещанию в стан. Уже было поздно.

— Завтра вранці поїду,— отвечал Дорошенко.

Настало утро. Когда обвиднело, Дорошенко приказал во всех Чигиринских церквях благовестить на сбор народа и приказал позвать к себе Молявку, который, после дайной им присяги на верность князю Малороссийской Украины, радовался, что избежал опасности, и ласкал себя сладкими грезами о предстоявшей возможности новыми услугами царю приобресть еще повышение по службе. Явился он к Дорошенку по зову гетмана. У крыльца его дома уже стояла оседланная и подведенная гетману лошадь.

— Тепер ти вільний! — сказал ему Дорошенко.— Поїдемо разом зо мною до вашого табору!

Вышедши из дома, Дорошенко сел верхом на подведенного ему коня и выехал со двора. На крыльце стояла его семья. Старшины были уже на улице, дожидаясь там гетмана. Весь город уже обегали сердюки, скликая народ на раду. И близ гетманского Дома набралась такая толпа, что Дорошенку не без труда можно было проехать, чтоб стать на таком месте, откуда бы долетавшая речь его могла быть удобно слышана на далекое расстояние.

Сидел Дорошенко верхом на сером породистом арабском коне, подаренном ему когда-то великим турецким визирем, и громогласно говорил:

— Православні християне! Добрий народе україно-малоросійський! Приходить нам наш останній час! Не можна уже нам стояти за свою вольность. Самі відаєте, скільки літ стояв я за неї і чого не робив: і турків, і татар закликав, але бусурмане, ім’я наше християнське ненавидячи, нещиро нам давали поміч, думаючи об тім єдине, як би наш край у вічну неволю під себе загорнути. Куди не повернемось, усюди нам боляче і гаряче. Україна сьогобочна спустіла. Народ, який зоставсь не побитий від чужого меча, розбігся, покинувши батьківські оселі. Ні з ким стояти. Зосталось просить милості і ласки у білого православного царя. Відомо то усім, що моя думка була здавна така, що нема нам ліпшої долі, як зоставатися під високою рукою царського пресвітлого величества, єдиного православного монархи на світі. Тільки тому перешкодою було те, що православний цар не приймав нас, а розказовав нам, щоб ми покорні були ляхам. А ми під ляхами буть не хотіли, і згодиться з ними нам ніяк не можна було, бо ляхи велце зрадливі люде і на змові своїй не стоять. До того ж старшина наша не вся змовлялась на тім, щоб одностайно цареві слуговать і покірними буть, боячись за свої вольності. Торік, як самі знаєте, присягали ми на віру православному цареві перед кошовим запорозьким Сірком, але царському пресвітлому величеству тая наша присяга не приймовна, і тепер посилає православний цар свою військову силу, щоб ми присягли перед гетьманом Іваном Самойловичем і царським боярином князем Григорієм Ромодановським і перед ними з себе гетьманство своє

зложили. Биться нам не годиться, да і ні з ким до бою стати. Покладаймось цалє на ласку царського пресвітлого величества з тим єдине варунком, щоб нас при нашім бідолашнім житії і при нашій щуплій худобі зоставили. Така моя думка, панове громадо!

— Згода, згода! — раздалось множество голосов.

— Нема згоди! — раздался в толпе один резкий голос, а за ним голосов двадцать, как это, повторили: — Нема згоди!

— Хто кричить "нема згоди", нехай вийде і скаже: що ж нам діяти і куди обернутись? — сказал Дорошенко.

— Під турком лєпш буде! — закричал кто-то.

— А чому до ляхів не послати? — раздался голос Шульги.

— К чортовому батькові ляхів! — крикнул брацлавский полковник Булюбаш.— Хто ще скаже, щоб нам коритись ляхам, того ми каменюками поб’ємо!

— Ляхи наші прирожденні вороги! — кричали другие.

— Краще чортові коритись, ніж ляхові! — повторяли иные.— Нема з ляхами згоди й довіку, до суду не буде!

— Я бачу,— сказал Дорошенко,— що все велике множество чигиринського люду хоче покоритися волі православного монархи, царського пресвітлого величества. Так я поїду до гетьмана Самойловича, поклонюсь йому і здам своє гетьманство, випрохавши тільки, щоб вас з осель ваших ґвалтом не виводили. А сам куди розкажуть мені їхать, туди й поїду. Простіть мене, братія, аще в чім яко чоловік прогрішився проти вас всіх в обець і проти кожного особно; і я всіх тих прощаю, аще хто проти мене зло мислив!

— Нехай Бог тебе покриває своїми святими крилами! — провозгласила толпа.

Священники в ризах вышли со крестами в руках. Понесли вперед Евангелия, образа, хоругви. Дорошенко сошел со своего коня и сел в поданную колясу. Многие видели, что у него на глазах сверкали выступившие слезы.

Коляса Дорошенка медленно ехала за крестным ходом. Позади колясы и по бокам ее ехало, шло и бежало множество народа обоего пола: те следовали верхом, другие — в повозках, большая часть — пешком. Были тут седовласые старцы, были и недорослые хлопцы. Под звуки колоколов шествие это вышло из ворот города и потянулось к югу. При переезде через казацкий стан караульные окликали шествие. Был ответ: гетман Петр Дорошенко едет в войско царского величества сдавать свое гетманство! Дорога, окаймляясь рядами курганов, памятников глубокой старины, которых такое множество вокруг Чигирина, привела в яр, посреди которого протекала речка Янчарка. По берегу ее белели полотняные шатры великорусского отряда. Перед шатром предводителя Григория Ивановича Косагова стоял стол, на котором лежали крест и Евангелие. Косагов уже дожидался Дорошенка, стоял в малиновом кафтане, расшитом золотными травами, с козырем, украшенным жемчугом; на голове у него была остроконечная, подбитая соболем шапка. Около Косагова стояли великорусские начальные люди и малороссийские полковники, присланные к Чигирину. Крестный ход уже достиг своей цели; хоругви и образа блистали под лучами яркого солнца.

Подъехала наконец к шатру коляса гетмана.

Дорошенко сошел на землю. За ним вынесли из этой колясы бунчук и булаву во влагалищах; бунчук поставили близ стола, булаву положили на столе.

Дорошенко, приблизясь к Косагову, поклонился, прикоснувшись пальцами до земли, и сказал:

— Стольник великого государя Григорий Иванович! По воле великого государя моего царя и великого князя Федора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, приехал я поновить пред тобою присягу на верность царскому пресветлому величеству, которую дал прежде перед кошевым запорожским Иваном Сирком и донским атаманом Фролом Минаевым.

Косагов сказал ему:

— Гетман Петр Дорофеевич! То учинил ты зело добре. Великий государь тебя за то жалует и приказывает похвалять и спросить тебя и всех Чигиринских казаков и все посольство о здоровье. Вот крест и Евангелие. Присягни пред ними, что ты поедешь к гетману Ивану Самойловичу и к боярину князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому в обоз под Вороновку сложить свое гетманство и дать присягу на верное и вечное подданство его царскому величеству!

Дорошенко, подошедши к столу, произнес присягу, повторяя слова священника, приехавшего вместе с Косаговым.

После присяги Дорошенко повидался с Полуботком и другими казацкими полковниками и, указывая на Молявку, стоявшего сзади, сказал:

— От ваш атаман, живий і здоровий. Поможи вам, Боже, за те, що обійшлись як слід братам і товаришам. Тепер уже все скінчилось. Воювати між собою не будем. Прийміть мене до свого гурту, бідного вигнанця, не пам’ятайте, що діялось перед сим. Самі ви люди розумні, зрозумієте, що я мусив зберігати, що мені полєцано було, а тепер нехай божа воля станеться.

— Ти, пане, свою справу чинив, а ми свою чинили,— сказал Борковский.— Не пам’ятуй і ти, що ми на тебе войною ходили. Як перед сим щиро вороговали, так тепер, замирившися, станем тебе поважати і кохати як брата і товарища!

— Вернуться мої посланці, тоді я з вами до головного обозу поїду,— сказал Дорошенко.

Полуботок пригласил Дорошенка в шатер на чарку горилки. Подали Дорошенку налитый вином серебряный кубок. Взявши его в руки, он поднял его вверх и провозгласил здоровье гетмана и всего войска Запорожского.

За шатром раздался гул. Послышались крики: "Повернулись! Повернулись!" Дорошенко поставил на стол кубок, еще не успевши допить его, отступил и отвернул полу шатра. Он увидел Вуеховича и Тарасенка, которые вставали из колясы и держали в руках по листу бумаги. Их колясу кругом обступила толпа чигиринцев, прибывших в стан вместе с Дорошенком.

— Що, братці? — с видом вопроса крикнул к ним Дорошенко, еще не допуская их к себе приблизиться.

— Все як належить! — отвечал Кондрат.

— Дяковать милосердому Богові! — громко произнес Вуехович.— На все згодились і твою милость якнайскоріш до себе чекають. От листи від пана гетьмана і від боярина Ромодана... А се, пане, лист до твоєї милості особистий від пана Мазепи,— прибавил Вуехович.

Дорошенко прежде всего схватил в руки письмо от Мазепы, так как его занимало желание укрыть от великорусского начальства последнюю отправку Мотовила к салтану Нуреддину. В этом письме от Мазепы Дорошенко нашел только неясное и короткое уверение, что со

стороны гетмана и старшин будет сделано все по желанию Дорошенка, сообщенному Вуеховичем.

IX

Освободившись из Чигирина, Молявка рассказал прежде всего обо всем, что с ним происходило, своему полковнику Борковскому. Немедленно Борковский сообщил об этом наказному, а Полуботок нашел, что принесенные Молявкою известия до того важны, что следует отправить самого этого Молявку к гетману, пусть Молявка сам лично расскажет ясновельможному все, и тогда главные регименгари царских войск могут в пору сообразить, что им делать и какие меры предпринять в ожидании вновь затеваемой смуты. Полуботок приказал составить об этом "лист" к Самойловичу, вручил его Молявке для передачи и приказал последнему, в дополнение к написанному, словесно обстоятельнее изложить все, что найдут нужным узнать от него.

В тот же день отправился Молявка и прибыл в главный обоз под Вороновкою. Его, как посланца от наказного, провели к ставке гетмана. В оное время походы совершались не с такою быстротою и не так налегке, как теперь. Военачальники останавливались с войском иногда надолго и должны были иметь с собою все удобства, какими пользовались в постоянных местах своего пребывания. Об удобствах подначальных и рядовых воинов и даже их продовольствии заботились тогда мало, но зато уже те, которые ими начальствовали, всегда брали с собою всего много. У малороссийского гетмана в походе была и своя походная церковь с духовенством, и своя походная кухня, и буфет, и канцелярия, и прислуга, иногда очень многочисленная. Гетман Самойлович, совершая походы разом с великороссийским боярином, начальствовавшим царскою ратью, посылаемою в Малороссийский край, устраивал пиршества, приглашал на них и своих и великороссийских начальных людей, отправлял в столицу посланцев с вестями, принимал московских и других послов и гонцов, творил на походе суд и расправу со старшиною. При таких обычаях необходимо было брать с собою и

возить множество вещей и людей, тем более что при малолюдстве края и при бедности культуры не везде можно было добыть всего, что окажется нужным. Таким образом, где только останавливалось войско на продолжительное время, в обозе возникал вдруг многолюдный и шумный город. Так было и под Вороновкою.

Гетманская ставка была в средине обоза; она состояла из купы шатров, между которыми отличался нарядностью и обширностью шатер самого гетмана Самойловича, разбитый на три части, отделенные одна от другой холщовыми выкрашенными занавесами. Переднее отделение имело вид обширной залы и было установлено полками со множеством серебряной посуды. Посреди стояли столы и при них складные стулья. Туда ввели Молявку. Самойлович находился тогда в другом отделении шатра, в своей спальне, и сидел там на своей походной постели перед столом, на котором лежали бумаги. С ним было двое из особ уже близких к нему, но не занимавших еще старшинских мест: один был Иван Степанович Мазепа, другой — Василий Леонтьевич Кочубей; оба они состояли в неопределенном звании значных войсковых товарищей; все, однако, в войске уже знали, что это самые приближенные к гетману люди. Прочитавши переданный Самойловичу через служителя "лист" Полуботка, привезенный Молявкою, гетман дал этот "лист" прочитать Мазепе и Кочубею, потом велел Мазепе поговорить с тем хоружим, который прислан с "листом".

Впущенный в переднее отделение гетманского шатра, Молявка был поражен множеством серебряной посуды. Ничего подобного не мог он видеть в своей жизни, до сих пор протекавшей в скромной обстановке быта рядовиков, где какая-нибудь полдюжина серебряных чарок да серебряная солонка в шкапчике считались уже признаком Бог знает какого довольства. А тут — в поставцах, расставленных во все стороны, горели, как жар, в таком множестве позолоченные и серебряные под чернью роструханы, достаканы, кубки, солоницы, ложки, черенки ножей и вилок,— и все это сработано с вычурами, "штучне", как говорили тогда малороссияне.

Мол явка уже приучил себя к почтительности перед высшими лицами и притом слышал от Булавки, что у гетмана Самойловича старшины генеральные сами сесть не решаются, прежде чем он не пригласит, а потому Молявка не смел сесть, хоть и немало стульев там было расставлено. Молявка стоя глазел на посуду, не дерзая подойти к ней поближе. Вот, наконец, развернулась пола занавеса, отделявшего переднее отделение шатра от другого, внутреннего, и из-за нее вышел худощавый, среднего роста человек с чрезвычайно добродушным выражением лица и с осклабляющимися губами, но с проницательными черными глазами. То был Мазепа.

— А де черніговської сотні хоружий, що привіз від Полуботка лист до ясновельможного пана? — спросил он, поводя глазами.

Молявка тотчас подошел к нему и поклонился в пояс. Мазепа сказал:

— Розкажи мені, серденько козаче, як ти ходив до Дорошенка в Чигирин, що там бачив і що чув. Усе розкажи по ряду; ясновельможний гетьман велів тебе розпитати.

Молявка принялся рассказывать подробно о всех своих приключениях, и когда пришлось говорить о собственных подвигах, Мазепа телодвижениями показывал ему одобрение. Но Молявка и на этот раз, как при передаче того же Борковскому, не сказал Мазепе, что насчет Мотовила предупредили его заранее в Чигирине. Мазепа, вглядываясь ему пристально в глаза, перебил его вопросом:

— А Вуєхович тобі нічого про се не сказав? Він не говорив з тобою? Може, він коли не сам, то через кого іншого звістив тебе?

Не решился Молявка отрицать этого, видя, что господин, который его спрашивает, как будто еще и не слыша его слов, читает, что у него на уме. Он сказал, что было именно так.

— А не знаєш, як зовуть того, що тебе звістив? — спрашивал Мазепа.

— Його зовуть Остаматенко. Я узнав про те опісля, як мене Яненченко підмовляв; тоді й сей був з Яненченком,— сказал Молявка.

— Кажи дальш,— сказал Мазепа.

Молявка говорил, как Дорошенко оставил его аманатом. Мазепа сказал:

— Дорошенкові хотілось, щоб московські гетьмани не знали, що він хотів бусурмана знов закликать. Нехай не турбується. Хоч нічого не утаїться од нас перед царським величеством, єднак Дорошенкові з того лиха не буде.

Молявка рассказал, как Яненченко с товарищами принудили его дать присягу на верность Хмельниченку.

— А як же, козаченьку, не стидно було тобі давать мальовану присягу? — сказал тоном укора Мазепа.— Хто ж після сього віру іматиме і другій твоїй присязі?

Не допустивши ответа, Мазепа вышел. Молявка стоял, словно кто его холодной водой окатил. Он почувствовал, что Мазепа выворотил ему сразу душу наизнанку и заглянул в нее так глубоко, как он сам ни за что не хотел, чтоб кто-нибудь заглядывал туда.

Мазепа передал гетману все, что слышал от Молявки.

— Я думаю,— сказал гетман,— тепер, як ми вже знаємо, що в Чигирині складається факція за Хмельниченка і його навіть чекають з турецькою силою, то уже Дорошенка жодною мірою не можна зоставляти в Чигирині. Бо Дорошенко через свою жінку свій чоловік Хмельниченкові. І Павло Яненко, тесть його, і діти Павлові того ж роду.

Як Дорошенко приїде до нас, сказати йому зараз, що по царській волі мусить він незабаром перебиратись по наш бік Дніпра. Я йому покажу мешкання. Ти що на се повідаєш, Іване Степановичу?

— Ясновельможний пане! — сказал Мазепа.— Ти нашого зданя питаєш, ніби шкілюючи з нас. Бо нам зостається тільки, як дурням, лупать очима і ніби твоїй милості похлібствовати. Хоч який справедливий слуговець своїй отчизні — не здолає тобі власної ради дати, бо як скаже щиру правду, то правда та мусить походити не від його, а від тебе, бо скаже те, що ти перш сам вимовиш. Твоя милость завше дасть сам таку мудру резолюцію, що нам не зостанеться нічого, як тільки згодиться з тобою. Бо хоч би ми три дні, п’ять день мірковали, то не додумались би ні до чого найліпшого. Якби у царя, великого государя нашого, на Москві коло його пресвітлого престола були такі особи мудрі, як наш гетьман,— не діялось би того, що діється часом.

— Я думаю,— продолжал Самойлович,— Дорошенкові дать мешкання в Сосниці, бо то буде недалеко від Батурина. А в Сосниці сотником наставити козака такого, щоб можна було на його покластися, щоб він за Дорошенком пильно назирав.

— Істинно розумно! — сказал Мазепа. Повторил то же выражение и Кочубей.

— А сотником наставить того хоружого, що привіз нам сей лист,— сказал гетман.— Що ви на се речете, панове?

— Ясновельможний пане! — сказал Кочубей.— Сей хоружий, будучи в Чигирині, заприсягнувсь Хмельниченкові слуговати. Чи не зрадить він і нас, як тепер уже зрадив Хмельниченка, заприсягнувши йому віру?

— А ти що на се повідаєш, Іване Степановичу? — спросил Самойлович Мазепу.

— Я,— сказал Мазепа,— своїм малим розумом уважаю так, що нема нічого мудрішого, як того хоружого наставить сотником там, де мешкатиме Дорошенко. Видко уже, що то за голова, коли так хитромудро, невеликим коштом і нам корисно справив своє полєценя в Чигирині. А що пан Кочубей промовив, то з назбит чулої гордливості ку добру сполному, але несправедливе. Коли ворог приставить ніж до горла да стане казати: присягайся мені, а то я тебе заріжу,— то прийдеться хоч кому згодиться з ним і штучне присягнути, а потім усе те на добро своїм повернути, то буде розумніш, ніж голову положити і дарма пропасти. Не гани, а шани варт сей козак за свій поступок.

— І я так думаю,— сказал Самойлович.— Нехай сей хоружий буде сотником в Сосниці. Хто тепер там сотник?

— Стецько Литовчик,— отвечал Кочубей.

— Я тому Литовчику подарую маєтку і універсальний лист на неї дам. Нехай зостається поки значним войсковим товаришем! А сього сотником наставити. Іване, поклич його до мене, а ти, Василю, дай мені список маєткам до роздавання в Черніговському полку,— говорил гетман.

Мазепа вышел. Кочубей нашел и подал гетману рукописный перечень имениям, определенным в раздачу. Гетман углубился в него. Между тем Мазепа позвал Молявку, и тот, ступая на цыпочках осторожно и почтительно за Мазепою, вошел в отделение гетманской спальни. Самойлович, не отрывая глаз от списка и не повертывая головы к вошедшему, стал говорить к нему таким тоном, как будто уже целый час с ним ведет беседу:

— Відсіля поїдеш у Сосницю. Я тебе туди наставляю сотником. Там житиме Дорошенко. Приглядуй за ним. В обидва ока гляди. Коли що від його затіється недобре, а ти не доглянеш, то не утечеш жорстокого карання і конечного розорення. Але не дражни його ніяк. Доглядай за

ним так, щоб він не знав і не помічав, що ти за їм назираєш. Гречне, уштиве і поважливо з ним поводись. Часто одвідуй його, але так, щоб він ні разу тобі не сказав: "Чого ти мене турбуєш?" Ходи до його ніби для услуги йому, підмічуй, в чім йому потреба, і, не дожидаючись, поки він тебе попросить, сам для його все достарчай, а чого сам не здолаєш, про те зараз до мене давай звість. Щоб ти знав, коли хто до його в гості прибуде і коли він кого з своїх домових куди посилатиме. Усе щоб ти провідав і знав. І про все таке мені просто до власних рук моїх гетьманських пиши. Нікому про се не кажи, що ти за Дорошенком назираєш, тільки я да ти про себе щоб відали. Їдь собі з Богом до своєї нової сотні. З моєї канцелярії оцей пан (он указал на Кочубея) дасть тобі універсальний лист на сотництво за моїм власним підписом.

Проговоривши все это, гетман, до того времени все устремлявший глаза в лежащий перед ним список, в первый раз взглянул на того, кому говорил, окинул его взором своим с головы до ног и опять стал рассматривать свои бумаги.

Молявка поклонился низко уже более не глядевшему на него верховному своему начальнику и вышел в большой радости. Слова гетмана о том, чтоб он писал прямо к нему, приятно отдавались у него в ушах. Он понимал, что дозволение сотнику сноситься непосредственно с гетманом, помимо полковничьего уряда, было большое к нему внимание, и он чувствовал, что высоко поднимается на своем служебном поприще.

Мы не станем описывать, как Дорошенко, забравши толпу выборных из чигиринцев и скрывавшихся в Чигирине жителей других правобережных городков, в сопровождении Полуботка и его казаков ездил в обоз под Вороновкою, сложил с себя гетманское достоинство, передал гетману Самойловичу свой бунчук, булаву, знамена, грамоты, полученные прежде от турецкого падишаха, двенадцать пушек, как принес в присутствии царского боярина Ромодановского и гетмана Самойловича присягу на вечное и непоколебимое подданство великому государю, как потом, возвратившись в Чигирин, сдал Самойловичу этот

город со всеми боевыми запасами и получил от Самойловича, сообразно царской воле, приказание переехать с семьею на житье на левый берег Днепра, где гетман указал ему местопребывание в Сое нице. Все эти важные исторические события не относятся непосредственно к нашему рассказу.

X

Схватившие Ганну Кусивну, обезумевшую от внезапного похищения, притащили ее в дом воеводы, где был устроен чердак в качестве отдельной горницы; там стояла кровать с постелью, несколько скамей и стол. Туда встащили Ганну по крутой, узкой лестнице и заперли за нею дверь. Несколько времени не могла Ганна опомниться и придти в себя: ей все это казалось каким-то страшным сновидением; ей хотелось скорее проснуться.

В горницу, где она была заперта, вошел наконец Тимофей Васильевич Чоглоков. Осклабляясь и приосаниваясь, сел он на скамью и говорил:

— Здорово, красавица, хорошая моя, чудесная, ненаглядная, несравненная! Здорово!

Ганна, не придя еще в себя, стояла перед ним растерянная и смотрела бессмысленными глазами.

— Увидал я вперво тебя в жизни,— продолжал Чоглоков,— и пришлась ты мне по сердцу вот как!

При этом он рукою повел себя по горлу. Ганна продолжала стоять как вкопанная.

— Лучше и краше тебя не видал на свити! — говорил Чоглоков.— Вот ей же Богу не видал краше тебя!

Ганна продолжала стоять перед ним, выпучивши глаза.

Воевода продолжал:

— Ты не знаешь девка, кто таков я. Так знай: я тут у вас самый первый человек. Знатнее и выше меня здесь из ваших никого нет. Ваш полковник подошвы моего сапога не стоит, сам ваш гетман мне не под стать. Вот кто я такой! Я от самого царя-батюшки великого государя сюда прислан: я царское око, я царское ухо. Сам великий государь меня знает и жалует. А ты, дурочка хохлушечка, знаешь ли, что такое наш царь, великий государь? Он все едино, что Бог на небе, так он, царь, на земле со всеми властен сделать, что захочет! А я его ближний человек, воевода над вами! Так я для вашей братии все равно, что царь сам. Вот и смекни, девка!

Ганна Кусивна начинала понемногу приходить в себя, но еще не вполне понимала свое положение и не в силах была давать ни ответов, ни вопросов.

— Теперь слыхала,— продолжал свою речь воевода, немного помолчавши,— что я за человек такой? Вот какому человеку полюбилась ты, девка, пуще всех. Таково уж твое счастье, девка. Я хочу, чтоб ты стала моею душенькою, моею лапушкою!

— Я чужая жона! — пробормотала Ганна.

— Какая такая чужая жена? — сказал, захохотавши, воевода.— Что ты, девка, шутки строишь? Нешто жены чужие, замужние бабы ходят с открытою головою, в лентах с косами, как ты?

— Я повінчаная! — произнесла Ганна.

— Когда? — произнес воевода.

— Сьогодня,— отвечала Ганна.

— Сегодня? — говорил воевода, продолжая хохотать.— Что ты меня дурачишь? Сегодня? Разве я турок или католик, что не знаю своей веры? Какое сегодня время? Теперь пост Петров. В такие дни венчать не положено.

— Я не знаю,— произнесла Ганна.— Владика розрішив. Нас вінчали, я повінчаная!

— Неправда твоя, девка! — сказал Чоглоков.— Того быть не может. У вас все одна вера, как у нас. А коли у вас такие дураки владыки, что в посты венчать позволяют, так твое венчанье не в венчанье, потому что противно закону святому. Ну, коли говоришь, венчалась, так где же твой муж и зачем же ты, повенчавшись с ним, ходишь по-девочьи, с открытыми волосами?

— Мужа мого угнали з козаками в поход,— сказала Ганна, мало-помалу приходя в себя,— а я буду ходить по-дівоцьки, поки вернеться з походу; тоді весілля справлять і мене покриють.

— Как это веселье? — спрашивал воєвода, не вполне понимая чуждый ему способ выражения.— По-вашему, значит, в церкви венец не всему делу конец! Нужно еще какое-то веселье отправлять! Значит, венчанье свое ты сама за большое дело не почитаешь, коли еще надобно тебе какого-то веселья? Стало быть, на мое выходит, что твое венчанье — не в венчанье. И выходит, девка, что ты затеваешь, будто венчалась. Стало быть, он тебе не муж, а только еще жених. А для такого важного человека, как я, можно всякого вашего жениха побоку.

— Ні, він мені не жених, а муж став, як я повінчалась! Я чужая жона! — говорила Ганна.

— Не муж он тебе, красавица моя, поверь моему слову. Я закон лучше тебя знаю. Можно тебе его послать к херам для такого большого человека, как я,— произнес Чоглоков.

— Ні на кого я не проміняю свого мужа! — сказала решительным голосом Ганна.— Не піду я на гріх нізащо на світі. Я Бога боюсь. Ти, хто тебе зна, що за чоловік: говориш, буцім присланий від самого царя. Як же ти, царський чоловік, таке діло твориш: чужу жінку зманюєш? Хіба цар тебе до нас на худе послав? Коли ти від царя посланий, так ти нас на добре наставляй, а не на погане!

— Я на доброе дело тебя и наставляю. За кого такого ты замуж выходишь? — спрашивал воевода.

— За того, кого полюбила і за кого отець і мати оддають! — отвечала Ганна.

— Слушай, девка! — говорил воевода.— Я очень богат, денег у меня много-много, и вотчины есть: озолочу!

— Не треба мені твоїх деньог і вотчин! Шукай собі з своїми деньгами й вотчинами іншу, а мене пусти до батенька і до матінки! — проговорила Ганна и зарыдала.

— Не упрямься, душенька. Слышишь, не упрямься! — сказал воевода и, вставши, хотел обнять ее.

— Геть! — крикнула Ганна не своим голосом.— Ліпше убий мене на сім місці, а я на гріх з тобою не піду! Я чесного роду дитина, дівкою ходивши, дівоцтва свого не втеряла і, ставши замужем, своєї доброї слави не покаляю!.. Геть! Нехай тобі лихо!

— Что ты говоришь о доброй славе да о грехе! — сказал воевода, более и более воспламеняясь страстью.— Какая тут недобрая слава?

Какой тут грех? Ты мне так по сердцу пришлась, что я тебя за себя замуж хочу взять!

— Неправда! Замуж ти мене не візьмеш, а тільки дуриш, хочеш, як би улестить мене. Як таки тобі, такому значному царському чоловікові, да просту дівку за себе взяти, да ще не з свого московського роду? А хоч би ти і вправді се говорив, так сьому статись не можна, бо я вже казала тобі: я чужа жона вінчана, і замуж іншому не можна мене вже брати!

— А я говорю тебе, что твое венчанье не в венчанье. Не по закону венчать тебя разрешил владыка. Над вашим владыкою есть другой владыка постарше, патриарх. Он твоего венчанья не вменит в венчанье и разрешит тебе выйти за меня замуж!

— Я,— говорила с более смелым и решительным видом Ганна,— вже тобі сказала, що я чужа жона, мене повінчали. Да хоч би і ваш патріарха, як ти кажеш, розрішив, то я би за тебе не пішла. Люблю я свого Яцька і ні на кого в світі його не проміняю.

— А меня, стало быть, не любишь! — сказал воєвода с зверской яростью.

Ганна молчала, переминаясь.

Воєвода еще раз спросил:

— А меня, стало быть, не любишь? Не хорош я для тебя?

— Не люблю! — сказала смело Ганна.— Як я любитиму такого, що його вперше бачу?

— Я сказал тебе, кто я такой,— промолвил воєвода.— Коли не веришь, спроси у кого хочешь: все тебе скажут, что я царский воєвода, в Чернигов прислан!

— Да будь ти не те що воєвода, будь ти самий найперший, як там у вас зоветься, князь, чи що, хоч самого царя син,— я за тебе не піду, а гріха творить не стану ні з ким!

— Так-таки не пойдёшь за меня? — спрашивал воєвода, которого черты лица принимали все более и более зверское выражение.

— Так-таки не піду! — отвечала Ганна.

— И не любишь меня? — спрашивал дико воевода.

Ганна остановилась ответом. Воевода повторил вопрос.

— А сам знаєш! — отвечала она; потом, разразившись рыданием, бросилась к ногам его и говорила: — Відпусти мене, боярине, Христа ради відпусти до батенька і до матінки!

— Ну нет, девка! — сказал воевода.— Не на то я тебя сюда велел привести, чтоб, ничего с тобой не сделавши, да отпустить. У нас говорят: кто бабе спустит, тот баба сам. Хоть плачь, хоть кричи — ничего не пособишь. Тут, окромя меня, никто тебя не услышит. Ты теперь в моих руках и от меня не вырвешься. Коли не хочешь добром, ласкою, так будет по-моему силою!

— Боярину! — вопила Ганна.— Відпусти мене! Батечку! Голубчику! Пожалій мене, сироту бідну! Я нікому не скажу, що зо мною діялось, ні батькові, ні матері, нікому! Відпусти! Бог тобі за те нагородить усяким добром. Голубчику! Пошануй! Відпусти!

— Нет, девка-красавица! Не отпущу! — говорил воєвода.— Больно ты мне приглянулась, к сердцу мне пришлась!

— Пане воєводо! — промолвила Ганна, поднявшись и ставши с выражением собственного достоинства.— У мене есть чоловік. Він узнає і заступиться за мене. Він до самого царя дійде і суд на тебе знайде!

— Ого, девка! — сказал воєвода со злобною усмешкою.— Ты еще пугать меня своим казаком! Он до царя самого дойдет! Э! Далеко ему до великого государя, как кулику до Петрова дня! Что твой казак? Наплевать на него! Что он мне сделает? Я царев воевода. Мне больше поверят, чем какому-нибудь хохлачу-казачишке. Не боюсь я его, дурака. Что хочу, то вот с тобой и учиню. Полюбилась ты мне зело, девка! — Он схватил ее поперек стана.

— Я розіб’ю вікно, кинусь, уб’юсь! На тобі гріх буде! — кричала Ганна.

— Окно узко! Не пролезешь! — сказал воєвода...

Ганна барахталась. Напрасно!..

* * *

Утром другого дня сидел воевода в своем доме. Перед ним стоял холоп его Васька, один из ухвативших в тайнике Ганну, парень лет двадцати с лишком, с нахальными глазами, постоянно державший голову то на правую, то на левую сторону, часто потряхивая русыми кудрями. Воевода говорил:

— Васька, хочешь жениться?

— Коли твоя боярская воля будет,— отвечал Васька.

— У тебя зазнобушки нет? — спросил воевода.— Правду отвечай мне.

— Нету, боярин! — ухмыляясь, ответил Васька.

— Найти невесту тебе? Хочешь, найду, красавицу... ух! — говорил воевода.

Васька только поклонился.

— Вон ту девку, что вы с Макаркою подхватили. Хочешь? — сказал воевода.

— Помилуй, государь,— сказал Васька.— Моему ли холопскому рылу такие калачи есть! Она просто краля писаная!

— Так вот на этой крале я хочу женить тебя,— продолжал воевода.— Хочешь али нет?

— Ведь она повенчанная, боярин,— сказал Васька.

— Это не в строку,— перебил воевода.— Развенчаем. В пост их венчали; такое венчанье не крепко!

— Венчать в другой раз, пожалуй, не станут! — заметил Васька.

— Вы повезете ее в мою подмосковную вотчину,— там вас отец Харитоний обвенчает. Он все так сделает, как я захочу. А я напишу ему с вами; вот он вас и обвенчает. Только вот с чем, Вася,— как меня из Чернигова выведут, тогда я тебя с женою в Москву вызову: ты будешь пускать жену свою ко мне на постелю?

— Не то что пускать, сам ее к тебе приведу,— отвечал Васька.— За большое счастье поставлю себе.

— А я тебя, Васька, за то озолочу,— говорил Чоглоков.— Первый у меня человек станешь. Коли захочешь — и приказчиком тебя над всею вотчиною сделаю. И платье с моего плеча носить будешь, и есть-пить будешь то, что я ем-пью!

— Как, твоя милость, захочешь, так и будет! — отвечал Васька, кланяясь.— Мы все рабы твои и покорны тебе во всем должны быть. Ты нам пуще отца родного, кормилец наш, милостивец!

Чоглоков говорил:

— Запряжете тройку в кибитку, посадите в нее хохлушку, закроете кожами и рогожами и повезете из города тайно в полночь. Держите ее крепко, чтоб не выскочила и не кричала, пока уж далеченько от города уедете. Ничего с ней не говорите о том, что с нею станется и куда ее везете. А привезете в нашу вотчину — тотчас отцу Харитонию мое письмо подадите: он вас обвенчает. Будешь с женою жить у меня во дворе в особой избе, а я напишу приказчику, чтоб выдавал вам помесячно корм во всяком довольстве.

В полночь выехала из черниговского замка воеводская кибитка, вся закрытая кожами и рогожами. Внутри ее сидела связанная толстыми веревками по ногам Ганна Кусивна, а по бокам ее — Васька и Макарка. Она силилась было вырваться, но Васька держал ее крепко, ухвативши за стан, а Макарка затыкал ей платком рот, как только она показывала намерение крикнуть. Правили лошадьми двое сидевших напереди стрельцов. Переехали на пароме Десну. Проехали еще верст пять. Васька тогда открыл кожу кибитки.

— Не бойся, девка, не мечись, не рвись! — говорил он.— Не улизнешь. Будешь сидеть и молчать — оставлю кибитку не закрытою и

держать тебя не буду, а станешь шалить — опять закрою и сдавлю тебя так, что будет больно.

Проехали еще верст двадцать. Ганна молчала. Тогда Васька и Макарка сняли с ее ног веревки, но обвязали ей стан и попеременно держали в своих руках конец веревки, так что не выпускали ее из своих рук ни на шаг даже и тогда, когда вставали из кибитки. Но в самой Ганне произошла тогда такая перемена, какой она бы сама не предвидела за собою. Она внутренне рассудила так: "Горе меня постигло великое, такое, что уж хуже и тяжелее быть не может. Надобно терпеть. Богу, видно, так угодно. Коли Бог сжалится надо мною, то пошлет по мою душу и приберет меня с сего света либо из этой тяжкой горькой беды меня вызволит, а не угодно то будет Богу, а воля его святая станется такова, чтоб я на этом свете долго мучилась,— буду мучиться и терпеть. Все, что со мною станут делать, пусть их делают, пусть поругаются, издеваются надо мною, как хотят: все это, значит, Богу так угодно!" И с этой твердой думой впала она в какое-то деревянное отупение, не покушалась уходить, во всем повиновалась своим тиранам; дадут ей обед и скажут: ешь и пей,— она ест и пьет; скажут: ложись и спи,— и она ложится и даже засыпает, потому что горе ее притомливает.

Так везли ее через города и села; когда с ней говорили, она отвечала, но односложными словами, и наиболее обычный ответ ее был: не знаю. Так довезли ее в вотчину Чоглокова, в село Прогной на реке Протве.

Холопи, привезшие Ганну, въехали на боярский двор, вывели ее из кибитки и засадили в чердачном особом покое. Ганна, очутившись одна, с час поплакала, а потом от утомления заснула. Она уже не заботилась, что с нею станется. Ее держали под замком и, принося ей пить и есть, уходили не иначе, как запирая двери за собой замком, но это, собственно, было уже лишним: пленница не побежала бы, если б ее оставили и с отворенною дверью; она бы не отважилась на побег уже

потому, что не знала, куда ее завезли и далеко ли очутилась она от родного Чернигова.

Между тем Васька и Макарка пошли с письмом Чоглокова к священнику, отцу Харитонию. Этот священник был из холопей Чоглокова. Господин отдал его обучаться грамоте, а потом, давши взятку в Патриаршем приказе, исходатайствовал посвящение его в попы в свою вотчину. Ставши отцом Харитонием, бывший мужик-сиволап, он не без запинки умел читать богослужебные книги, а в исполнении всех своих обязанностей, вместо всякой кормчей, служила ему воля вотчинника прихода, в который его поставили. Что господин прикажет — он все исполнит без рассуждения, считая, что не он, а господин будет в ответе, если что им приказанное — несправедливо. При таком взгляде на свои пастырские обязанности и при своем крупнейшем невежестве в религии почтенный отец Харитоний ничего не мог произнесть, кроме полной готовности сделать все так, как в письме к нему приказывал теперь господин. И вот в одно из ближайших воскресений холопи, привезшие Ганну, вошли к ней и велели идти за собою. Она повиновалась, не спрашивая, куда и зачем идти ей. Ее привели в церковь, где окончилась обедня. Кроме Васьки и Макарки, стояло там еще неизвестных Ганне трое холопей. Пономарь в мужицком зипуне и в лаптях зажег пред местными образами свечи и дал по зажженной свече Ваське и Ганне. Отец Харитоний вышел в облачении, отворил царские врата и, подойдя к аналою, стоявшему посреди церкви, начал последование бракосочетания. Исполняя буквально то, что перед ним написано было в книге, лежавшей на аналое, он обратился к Ваське и Ганне и спросил того и другую: не принужденное ли желание имеют они вступить в супружеский союз? Тут только поняла Ганна, что с ней выделывают, и благим матом закричала: "Не хочу! Нельзя! Я повінчана з другим!" Но священник не обратил на это внимания, как будто не слыхал ее слов, и продолжал богослужение. Ганна не хотела ни за что надевать поданного ей кольца, но холопи надели ей на палец это кольцо насильно, а Васька шепнул ей, что она будет жестоко побита, если станет упрямиться, и все-таки ее повенчают. Ганна оставила на пальце надетое ей насильственно

кольцо. Когда новобрачных повели вокруг аналоя, Ганна горько плакала, порывалась кричать и бежать, но шедший рядом с нею Васька сказал ей: "Молчи! А не то мы с тебя кожу сдерем!" — и Ганна ограничилась горьким рыданием. После окончания венчания священник, все-таки исполняя буквально то, что видел написанным в требнике, приказывал новобрачным поцеловаться. Ганна с омерзением отворотилась, но Макарка, бывший у нее шафером, поворотил ее голову обратно и натолкнул прямо на голову Васьки. Ганну увели из церкви; она продолжала рыдать и всхлипывать, а новый супруг грозил ей снятием со спины шкуры, печением огня, выкалыванием глаз. Окружившие их холопи и холопки нимало не были поражены видом рыдающей новобрачной, так как рыдания невесты были обычны в русском семейном быту и даже, по народному воззрению, составляли необходимую сущность брачного обряда. Все понимали, что невесту отдали замуж насильно, по воле господина, но это было совершенно в порядке вещей и никого не возмущало.

Привели Ганну во двор. Стала она теперь женою нового незнакомого мужа, жила с ним в особой избе, небольшой, составлявшей пристенок к большой дворовой избе, куда собиралась дворня на работу. Ей задавали разные работы на дворе: колоть и носить дрова в избу, топить печь; зимою вечерами заставляли прясть вместе с другими дворовыми бабами: ничего она не перечила. Бывали случаи, дворовые бабы поднимали ее на смех за ее малороссийский говор в ответах, которые она им давала, за ее постоянно унылый вид; она не серчала, не отгрызалась, а только молча рыдала; слезы и рыдания возбуждали издевки холопок. Ее одели в великорусскую одежду и говорили, что теперь она красивее, что эдак лучше, чем в ее прежнем хохлацком убранстве, в каком она приехала,— теперь-де, по крайней мере, она похожа на православную. Она все сносила и молчала. Внутри ее, однако, принужденное спокойствие подчас возмущалось ужасными душевными бурями. Не раз приходило ей в голову покончить с собою: разбить себе голову о печь избы; улучивши время, когда за ней меньше будут глядеть, выбежать поискать воды и утопиться. Но тут сознавала она, что то будет тяжелый грех перед Богом, вспоминала она, как ей

твердили с детства, что не бывает от Бога на том свете прощения тому, кто наложит на себя руки, и будет грешная душа скитаться, мучиться и не знать покоя; надобно терпеть всякую беду, как бы человеку ни было дурно, а все-таки милосердый Бог когда-нибудь пошлет конец его житию и потом наградит его на небесах. Иногда овладевала ею злоба, являлось желание: как бы извести этого ненавистного Ваську, этого насильно навязанного ей мужа, или же зажечь под ветер ночью избу и всю усадьбу,— авось все сгорят, проклятые, и потом пусть с нею что хотят делают — хоть огнем жгут, хоть с живой шкуру дерут, а она уж за себя отдала! Ей до крайности невыносима была вся обстановка круга, в который ее бросили; ей, природной свободной казачке, и неведом и немыслим казался холопский строй жизни, куда всосаться ее неволили; слыхала она прежде на родине жалобные песни о татарской неволе, слыхала раздирающие сердце рассказы, как татары хватали в полях и рощах неосторожно ходивших за ягодами дивчат и уводили в свою сторону и как бедные страдали у них в неволе; но то ведь с крещеными так делают враги-нехристи; а около ней люди как будто сами крещеные: и церкви у них есть, и образа в избах, а поступают с нею так, как бы хуже и бусурмане не поступили, если бы уловили. Что же их жалеть? Пусть бы все сгорели! Но тут останавливал ее внутренний голос: "И так думать — великий грех перед Богом, Господь не велит делать зла врагам!" Ганна заливалась горькими слезами и просила Бога простить ей невольно пришедшее желание зла своим мучителям. Так глубокая детская вера хранила ее от покушений на самоубийство и от искания способов отмщения за себя. Дни шли за днями. Ганна все более и более свыкалась с тем бесчувственным спокойствием, когда все терпится, не ищутся уже средства спасения, привыкается даже к тому, к чему никогда, как прежде казалось, привыкнуть невозможно.

Васька, однако, не надоедал Ганне предъявлением своей супружеской власти над нею. Ганна была ему покорна, как овца, но сама не в силах была скрыть от него отвращения к его особе. Поэтому и Васька почувствовал, что его что-то отталкивает от женщины, которая и против своей и против его воли называется его женою. Подвернулась Ваське из той же чоглоковской дворни молодая смазливая вдовушка,

сама стала лебезить около него, и Васька скоро с нею сошелся. "Ты думаешь,— говорил он своей лапушке,— мне большая приятность возиться с этой хохлачкой! Провались она от меня сквозь землю! Наше дело холопское: что велит государь, то мы и делаем! Вот приглянулась ему хохлачка: "Женись,— говорит,— Васька, а ко мне будет она ходить". Это, видишь, мне жениться для прикрытия греха его! "Озолочу", — говорит. Ну, озолотит ли, нет ли, а деться негде, надо слушаться: по крайности хоть шкуры со спины не спустит! Вот и стереги этого черта — не было печали, да черти накачали! Эх-ма! Иногда, как расхнычется, так вот взял бы кулаком дал ей по голове да тут бы и приплюснул. А иногда так самому, глядя на нее, жалко станет, словно тебе кто в сердце колом ткнет. Ну, и махнешь рукой!"

XI

По окончании похода к Чигирину Самойлович распустил все полки по домам на зимний отдых, но Черниговский полк назначил в гарнизон в Чигирин. Борковский уехал в Чернигов сделать новый выбор между казаками, чтобы остававшихся до сего времени в домах своих отправить на смену бывших на службе и послать их в Чигирин с обозным полка своего, давши ему звание наказного полковника.

Дома Борковский узнал от жены своей, что пропала без вести та невеста, которая с разрешения владыки была обвенчана в самый день выступления полка в поход. В народных толках об этом событии, доходивших до полковницы, уже бросалось подозрение на воеводу, который и другими своими поступками успел возбудить против себя неудовольствие и омерзение. Полковница сообщила мужу, что без него воевода приглашал к себе в дом зажиточных черниговских мещан и вымогал от них себе в почесть деньги: с кого — сто рублей, с кого — двести и поболее, грозил в противном случае расставить у них в домах своих стрельцов, и мещане, чтоб избавиться от таких немилых гостей, давали воеводе требуемые сумы. Подначальные ему стрельцы и рейтары, ходя по базару, насильно брали у перекупок разное съестное и не платили, отговариваясь, что они-де царские служилые люди, хохлы

обязаны их кормить и всячески им угождать; у них хотели отобрать отнятое, а товарищи их стали заступаться за отнявших и били малороссиян. Подавалась по этому поводу жалоба в магистрат, члены магистрата приходили сами к воеводе просить управы, а он с бесчестием прогнал их. Сам воевода ездил по лавкам, набирал товары, обещая уплатить после, а когда хозяева явились к нему за уплатою, он с насмешкою говорил им, что заплатит на втором Христовом пришествии. Большой он охотник был до женского естества, и его воеводские люди водят к нему женок и девок из мещанских и поспольских дворов,— стали забираться уже и в дворы казацкие, начали сманивать казацких жен и дочерей, напугивая их, что уведут силою, если не согласятся идти по доброй воле; мужья и отцы, слыша то, жаловались обозному, бывшему в звании наказного полковника в отсутствие Борковского. Обозный пошел объясниться с самим воеводою, но воевода затопал, закричал, что все это вздор, что обозный это сам затеял на его людей и на него, воеводу, и прогнал обозного с бесчестием. Такие новости передала полковница своему мужу; Борковский позвал обозного, тот подтвердил все, что говорила полковница, и прибавил, что воевода сказал ему так: "Твое дело унимать глупцов от таких безлепичных речей, а не приходить с ними ко мне; вот я на тебя челобитную подам великому государю в своем бесчестии".

Борковский поехал к Чоглокову присмотреться к нему и прислушаться к тому, что будет он говорить.

Чоглоков, как только из окна увидал въезжавшего к нему в колясе полковника, тотчас выбежал на крыльцо, кланялся, касаясь пальцами до земли, улыбался, произносил радостные восклицания, обнимал, целовал полковника, как старого друга, просил в свой дом и, пустивши его вперед, сам шел за ним и говорил: "Вот когда для меня настал истинно светлый день, когда я увидал дорогого гостя, почтенного Василия Кашперовича!"

Усадивши Борковского на почетном месте, Чоглоков забегал, приказывал подавать вина и разных угощений и, обратившись к полковнику, сказал:

— Одинокий я человек, без хозяйки. Вам, женатым людям, ино дело: есть кому все приготовить и угостить дорогого гостя. А вот я — один! Так оно, может быть, и не так выходит учтиво. Не взыщи, приятель мой!

— За хозяйкою дело не станет,— произнес Борковский,— лишь бы только господину воеводе приглянулась какая боярышня.

— Оно так, да видишь, приятель мой,— сказал Чоглоков,— я помышляю о том, как душу спасти после своей смерти, больше, чем о том, чтобы в сей привременной жизни было хорошо. Что наша здешняя жизнь? Дней наших лет семьдесят, аще же в силах — осмьдесят; что это перед вечным житием в царствии божии, где и тысяща лет яко день един! А какой путь ведет туда, во царствие божие! Узкий и тернистый путь, широкий же и гладкий путь ведет в погибель. У меня, Василий Кашперович, книжечка есть. Отменная книжечка. Вот, посмотри-ко, приятель.— Он достал из угла под образами рукописную книжечку с миниатюрами, указал ему на рисунок и продолжал: — Вот узкий и широкий путь. В чем тот и другой показываются? Вот узкий и тернистый путь, по каким утесам, скалам и пропастям земным он тянется узкою тропою, а тропа та вся обросла колючками, а по том пути идут все хромые, слепые, нищие да схимники-отшельники, что в скорбях и слезах о гресех своих и людских житие свое проводят. А куда этот путь приводит? Смотри: вон церковь, а на церковной паперти в архиерейском облачении сам Господь стоит, а около него апостолы, и благословляет идущих к нему Господь, значит, как сказано в Евангелии: приидите благословенний! А вон другой, широкий путь. Смотри, все сады да цветы прекрасные, благоухающие, и дорога какая гладкая, и по дороге все столы стоят, а за столами все бражники и пьяницы сидят, а перед ними человек с балалайкою в руках, заломивши набекрень шапку, трепака отплясывает. А вон дале — баня, а в ней парятся мужчина с женщиною — значит, прелюбодеяние; а дале, вон смотри, муж с женою

и семьею обедает, люди богатые, в одеждах испещренных, в мехах дорогих, а на столах у них кубки и достаканы и братины все серебряные, а через двери к ним нищий старец руку протягивает, а они на него не смотрят. Видишь, все эти по широкому пути идут, и те, что в законном супружестве пребывают в довольствии и счастьи, мало к бедной братии милостивы, оттого что сами горя не знают, и они на широком пути вместе с пьяницами и любодейцами! А смотри, куда этот широкий путь приводит их. К мостику, а мостик тоненек, словно жердочка, а под мостом бездна, в ней же гады многочисленные, драконы, змеи, крокодилы, скорпии... Вон один грешник упал с того мостика да прямо в пасть крокодилу! Вот он, широкий-то путь! А мы, грешные, бесчувственные, живучи в сем суетном мире, не помышляем о том, что может нас ожидать на том свете! О Господи Боже! Господи Боже! Аще бы мы чаще имели в памяти последний час наш смертный, меньше бы, чай, грешили в нашем житии. Так вот, почтеннейший и возлюбленнейший приятель мой, иногда бы мне и хотелось жениться, да боюсь, чтоб не стать на приятный путь жизненный, а одинокое житие хотя неприятно и терпишь, зато помнишь, что в терпении наше спасение, и тем утешаешься.

Борковский на это сказал:

— Тимофей Васильевич! Брачное житие благословенно Богом и не может повести в ад, хиба человек станет неправдою жить; так то уже будет ему кара за другие грехи, а не за брачное житие, еже нисколько несть греховно.

Воевода повел глаза в другую сторону, приподнял вверх голову и вздохнул.

Борковский начал речь о другом.

— Без нас,— сказал он,— тут проізошло дивне діло. В той день, як ми виступали в поход, вінчали у св[ятого] Спаса нашого козака Молявку-

Многопіняжного, і ми із твоєю молостію вкупі у церкві тоді були. У той же вечір, як ми вийшли, ухоплено молоду в потайнику, що до Стрижня з города пороблений, там знайшли її відра і коромисло, а її самої не знайшли, і досі нема. Кажуть, би твоя милость посилав одшуковать її, чи где не обрітеся слід погибшої?

— Правда,— сказал Чоглоков,— ко мне приходил отец ее, и по его прошению посылал я стрельцов разыскивать. Нигде не найдено ее. А вот потом получил я такое известие от своего приказчика, что мой холоп Васька Оглобля, отпросившийся у меня из Чернигова в мою вотчину, привез туда малороссийскую девку и хочет на ней жениться. Я написал, что позволяю, и спросил, кто такая эта девка? Вчера прислали мне известие, из него же я узнал, что это та самая девка, что здесь искали. Они уже повенчались, по их обоюдному желанию и по моему дозволению. Анна Кусовна называется эта девка, не так ли?

— Вона! — сказал огорошенный полковник.— Да як же їх там повінчали, коли вона вже повінчана з другим тут, в Чернігові?

— Этого я не знаю,— отвечал воевода.— Только я такую бумагу получил и выпис об их венчании от священника. Но и то правду надобно сказать: такой брак, что здесь был, не по закону совершился — в Петров пост!

— Архієпископ розрішив,— сказал Борковский.

— Не смеет архиепископ того разрешать,— сказал воевода.— Как пойдет из-за этого, Боже сохрани, дело и дознается святейший патриарх со всем священным собором, не похвалят за то вашего архиепископа. Знаешь ли, Никон-патриарх не в версту архиепископу Лазарю, а и с того сан сняли вселенские патриархи. Как бы с вашим архиепископом того же не случилось!

— У нас,— говорил Борковский,— від прадідів так ведеться, що в пости забороняється вступлєніє у малженське сожитіє, а не вінчання, і владика може розрішити обрядок хоч і в піст, аби тільки в малженське життя не вступали до кінця посту.

— Много вы прожили под лядским владычеством, и много латинского блудословия к вам перешло,— сказал Чоглоков.— Теперь же, как вы поступили под державу царей православных, надобно такие плевелы из церкви божией исторгать. Ваш архиепископ Лазарь добре то знает! Зачем же так поступает?

— Ето уже діло не наше, а духовное,— возразил полковник.— Может бить, архієпископу Лазарю не годилось того тепер розрішати, но когда оная жона здесь з одним уже повінчана, не годилось її перевінчувать з другим.

— Охота вашему казаку жалеть о такой бабенке! — сказал воевода. — Привязалась к другому — туда ей и дорога! Она, видно, понимает, что брак их не крепок, когда решилась бежать с чужим человеком и обвенчаться с ним. Твоему казаку бы только еще благодарить Бога, что отвязалась от него сама такая жена.

— Тут,— сказал Борковский,— єсть щось таке, що тикається твоєї милості. Як тільки твоя милость приїхав до нас у Чернігов, зараз посилав єси стрільця Якушку за бабою Білобочихою, відомою всім зводницею, і прохав, аби вона твоєї милості добула на ніч Ганну Кусівну, про яку казано твоєй милості, що то найкрасовитіша з дівчат черніговських. Білобочиха то сама нам повідала, і свідки на то єсть: нашого полку старшини — обозний і писар. А скоро після того Ганна Кусівна пропала. З того немалий якоби суспект виникає на поступки твоєї милості.

— Не говорить было тебе таких пустотных затейных речей передо мною, и не мне их слушать,— сказал порывисто-гневно воевода.— Тебе глупая баба намолола, а ты по дурости своей хохлацкой смеешь мне то

в глаза повторять! Белобочиха твоя лаяла что собака, а ты разносишь ее лай по ветру да еще дерзаешь говорить, забывая, что я старше и честнее тебя в десять раз! Я царский воевода, а вы все казаки — что, как не мужики и не мужичьи сыны!

— Вибачай, пане воєвода,— сказал Борковский,— тільки про те, що повідала Білобочиха при свідках, пошлеться в Приказ да, може, ще дещо про твою милость.

С этими словами, не прощаясь более с взволнованным воеводою, ушел от него Борковский. Воротившись домой, он сказал полковнице:

— Пропавша Кусівна — то, бачу я, воєводське діло, проклятеє то діло!

Через день явился к Борковскому черниговский войт с бурмистром и двумя лавниками, членами магистрата. Они принесли Борковскому на государево имя челобитную, в которой излагали безобразия воеводы Чоглокова и били челом о его удалении. В этой челобитной обвинялся Чоглоков во всех тех поступках, о которых полковница пересказывала своему мужу после его возвращения из похода. Борковский позвал полкового писаря, приказал читать поданную челобитную при себе и при войте с товарищами, и когда в челобитной дочитался писарь до того, что воеводские люди подговаривали женщин и девок к непристойному делу для воеводы, Борковский остановил чтение и сказал:

— Припиши отут: "Черніговськая міщанка Білобочиха пред полковником і полковою старшиною повідала, іже воєвода, призвав єє к собі, полєцал єй подмовить на блудное з ним діло козачку Ганну Кусівну, вступившую перед цим в малженський союз з козаком Молявкою-Многопіняжним, которая Ганна потом, по отшествії мужа своего в поход з прочими козаками, безвістно пропала; по возвращенії же із похода Козаков оний воєвода повідал полковнику черніговському

Дунін-Борковському, яко би оная Ганна вступила в новое малженство з его воєводським чоловіком і нині находиться з оним своїм новим мужем в його воєводській подмосковной вотчині, того ради уповательно, что ведомый такого беззаконного отнятия жены у живого мужа и отдания оной в малженство з іним чоловіком воєвода был сам не безучастником такового діла..." Да ще припиши отут, що чолобитна подається не точію від міщанства, но і од черніговського козацтва. Все як подобає скомпонуй і мені подай для одправки ясновельможному.

Молявка-Многопеняжный по окончании похода прибыл в свой Чернигов с тем, чтобы, собравшись в течение какой-нибудь одной недели, ехать с матерью и молодою женою в Сосницу. Невозможно описать порыва довольства и радости старой Молявчихи, когда, встретивши прибывшего сына и расцеловавши его, она узнала, что он в такое непродолжительное время из простого рядовика дослужился до хоружего, а вслед за тем до сотника, и притом с исключительным правом сноситься прямо с самим гетманом. На первый вопрос его о жене мать сообщила ему роковую весть. Молявка, услыша такую весть, побледнел, как полотно, и стоял несколько времени как вкопанный в землю. Мать, утешая сына, говорила:

— Синку! Не журись. Я тобі скажу: необачно ми зробили, що засватали з сеї сем’ї дівчину. Досвідчилась я, що непевні то люди. Звісно, перше як нам було знать, що воно таке, а опісля стало видко, що люди недобрі, погана сем’я! І сама молода — Бог зна що! Тут щось да не ладно. Як-таки так, як вони кажуть: "Пропала і хто її зна, де і куди поділась". А тут затим Кусиха наплела на мене таке, що й казати ніяково! І відьма я, і чарівниця, і лукава я, і злюка... Такого наплела, так мене оговорила, що не чаяла я ніколи дожити до такої ганьби.

Старуха начала рыдать. Сын стал в свою очередь ее утешать, но материнские слова глубоко врезались ему в душу и сразу перевернули в ней нежное чувство привязанности к жене и возбудили чувство злобы к Кусам, виновным в его глазах уже тем, что мать его на них жалуется с плачем. Но такая внутренняя перемена была еще в зародыше, и он не

только стыдился бы открыть ее другим, но искренно хотел бы не замечать и сам, что она в нем происходит. Молявчиха советовала ему вовсе не ходить к Кусам и изъявляла опасение, чтоб его там не причаровали. Сын, однако, на этот раз не послушал такого совета и пошел к тестю и теще.

С ужасного дня исчезновения единственной дочери Кусы находились в постоянной тоске и так изменились в своей наружности, что Молявка чуть мог узнать в них тех, которых знал всего за три месяца. Оба супруга встретили его ласково, но с горькими рыданиями. Заплакал с ними и зять. Но Кусиха тотчас же, не стесняясь, начала упрекать Молявчиху, хотя беспрестанно при этом просила у зятя извинения за то, что так отзывается о его матери. Впрочем, вспыльчивая и самолюбивая, но чрезвычайно добросердечная Кусиха тут же изъявляла со своей стороны готовность и примириться.

— Ошельмовала,— говорила Кусиха,— всю нашу сем’ю, повидумувала про нас чорт зна що таке, аби добрих людей від нас одвернути. І хто її зна, чого вона так на нас визвірилась. Нічого, далебі, нічого ми їй не вдіяли, ми до неї з щирого серця, як до родички нашої, а вона до нас — як лютий ворог. І тепер ми на неї нічого, Бог з нею, нехай Господь її судить! А ми нічого, таки нічогісінько!

Молявка, слушая подобное, был в большом затруднении, что отвечать, но Кус вывел его из такого положения. Он встал, пошел к двери и сказал:

— А йди, зятю, сюди, я тобі щось скажу.

Молявка вышел с ним вместе в сени, и Кус ему сказал:

— Ти, зятю, на се не потурай! Поколотились промеж себе жінки, а тут де взялись цокотухи збоку да й стали їх подцьковувати. Підожди, любий зятеньку, все перемелеться і зміниться. Аби тільки Ганна

знайшлась, то ми б гуртом взялись і зараз старих баб на згоду привели. Ох! Да де-то тієї Ганни взяти!

І Кус горько зарыдал.

Расстроенный видом плачущих родителей, Молявка обещал во что бы то ни стало изо всех своих сил искать Ганну, уверял, что он готов идти хоть в пекло, лишь бы ее вернуть и избавить от беды. В заключение он сказал, что пойдет сейчас к полковнику просить совета, куда ему кинуться.

Пришел Молявка-Многопеняжный к своему полковнику.

Борковский, обращавшийся вообще с подчиненными холодным, сухим, начальническим тоном и не делавший до сих пор для Молявки никакого исключения, в этот раз принял его с осклабляющимся лицом, поздравлял с сотницким званием, изъявлял надежду, что, оставаясь по-прежнему в Черниговском полку, он может всегда рассчитывать на своего полковника как на искреннего покровителя и благодетеля. Потом Борковский объявил ему о том, что услышал от воеводы о браке жены его с воеводским человеком. Молявка побледнел и затрясся. Борковский начал его утешать таким же тоном, в каком говорила ему мать, доказывал, что хотя здесь было коварство воеводы, но дело не могло совершиться без участия и согласия самой молодой Молявчихи,— невозможно ей иначе очутиться где-то под Москвою и обвенчаться с другим. Полковник советовал Молявке со своей стороны отречься от такой жены и, пользуясь нарушением брачной верности с ее стороны, подумать и об устройстве своей судьбы.

— Моя рада, серце козаче,— сказал полковник,— піти до воєводи да взять від його випис об тім, що, казав він, до його прислано від попа того, що вінчав твою жінку, да з сим виписом йти до преосвященного Лазаря: нехай він, бачучи, що жінка твоя порвала малженський союз, розрішить і тобі, яко вільному і вцалє від того союзу свободному, з

іншою дружиною закон прийняти. Архієпископ повинен тобі то на письмі дати. Ти молодець голінний і велце розумний: піднесешся високо. Я се бачу. Бо я старий птах — наскрізь тебе, як і кожного чоловіка, угляжу! Кусова дочка невелика пташина, а за тебе тепер хоч яка панночка замуж піде. Да от, прикладом сказать: у моєї жінки єсть небога-сестрениця. Багато уже до неї молодят залицялося, вона всіми гордувала і гарбуза їм підносила. А тобою і та не побрезгувала би. Се я тобі так тільки, на приклад, кажу; таких панночок чимало знайдеться в сім’ях у наших значних товаришів. А то все не рівня яким-небудь там Кусам. Бо ти, серце козаче, тепер уже не рядовик, а сотник, наш брат, значний товариш, так тобі уже слід з нашим братом, а не з простими рядовиками ріднитися.

Молявка-Многопеняжный вдруг как будто освежился от таких слов и благодарил полковника за добрый отеческий совет.

Возвратившись к матери, он рассказал ей обо всем, что слышал от полковника.

— А що! — сказала Молявчиха.— Говорила я тобі: щось не ладно, непевні вони всі, і необачне було твоє оженіння. Отже, на моє вийшло. Не без власної вини її було те, що вона зникла. А що, чи не правда моя? Тепер сам бачиш і розважиш: уже ж не без її згоди повінчано її з кимсь другим. І полковник, бач, те ж говорить. Полковник тобі добра хоче. Що він тобі натюкнув на якусь свою сестрениці, так се щоб ти догадався да посватався. Цур їй, тій Кусівні, нехай її ті люблять, що в болоті трублять! Іди, синку, швидше до воєводи і прохай у його той випис, що полковник тобі казав про його, а там чвалай до владики, щоб тобі розрішив оженитись з іншою. І справді, синку, ти вже неабиякий рядовик, а сотник, дяковать Богу, з панством врівні, так тепер тобі вже не з простими черняками, а з родовитими знатися і приятельство вести подобає. Ти ж молодий і хороший, мій синочку любий! Авжеж, після всього оце, хоч би Кусівна і повернулась до тебе, хіба ж би ти її прийняв за жону з-під якогось там чорт батька зна московського холопя? Таку паскуду і скибкою взяти гидко!

Молявка-Многопеняжный поддался внушению матери. Узнавши, что его жена принадлежит другому, по ее ли собственной воле это случилось или нет — все равно, она ему уже стала не мила, а мысль — породниться с панами, с самим даже Борковским, представлявшимся до того времени ему в неприступном величии его сана, надежда получить в приданое маетности, зажить паном, увидеть к себе от своих прежних товарищей по званию, простых рядовиков, то раболепное уважение, которое, как он замечал, оказывалось урядовым и значным людям — перспектива чересчур светлая для того, который и прежде заботливо думал о возможности своего возвышения; Он отправился к своему зятю, к сотнику Булавке. Тот, узнавши о выходе замуж Кусивны и о загадочной речи полковника, пришел просто в восторг. Булавка увидел во всем этом возможность выгод и для самого себя: через своего шурина и он мог войти в свойство с полковником. Булавка торопил шурина к воеводе, советовал ему, умолял его не заводить с воеводою никаких щекотливых для последнего объяснений, не раздражать его, не показывать ему никакой скорби о потере жены, а почтительно выпросить от него выпись и поблагодарить, потом с выпискою идти к архиепископу.

Молявка отправился к воеводе.

Прислуга воеводская не хотела его пускать, но Молявка приказал доложить воеводе, что пришел к нему сосницкий сотник и нуждается поговорить с воеводою об очень важном деле.

Воевода вышел и, увидя Молявку, узнал его и с гневом сказал:

— Ты что это задумал назвать себя сотником? Я тебя знаю, ты простой казак, а не сотник. Чего тебе надобно, мужик ты наглый, невежливый!

— Вашець прошу,— отвечал Молявка,— за поход під Чигирин мене піднесено спершу хоружим сотенним, а потім сотником, і сам ясновельможний поставив мене в Сосницю.

— Твоє сотничество при тебе,— сказал воєвода, поглядывая на него все еще сердито, надеясь, что он пришел затем, чтобы по поводу жены своей входить с ним в неприятные объяснения.— Ну, какое же дело до меня, господин сотник?

— Рач твоя милость,— сказал, почтительно поклонившись воеводе, Молявка,— пожаловать мене дать випис об тім, що, як імені повідав пан полковник, моя жінка в непритомності моїй повінчалась з якимсь чоловіком. Щоб я, маючи таке! свідоцтво і віддаючи, що жона моя, будучи зо мною повінчаща в законнім малженстві, розорвала закон, і сам би мав право на оження з іншою.

Видя, что Молявка, вместо того чтоб являться с укорами, приступает к воеводе очень почтительно с челобитьем, Чоглоков переменил тон, стал ласков и сказал добродушным тоном:

— Это можно, дружище. Можно все для приятеля. Дам я тебе выпись за рукою священника о том, что жена твоя по доброй своей воле повенчана с моим человеком. Только я тебе, дружище, скажу: неправильно говоришь ты, что она твоя законная жена венчанная. Да, приятель, это слово твое неправильное. Не жена тебе она была. Незаконно разрешил архиепископ тебя с нею повенчать в Петров пост. Это она сама знала и потому, как ты уехал, сошлась с моим человеком. Я, по их челобитью, приказал им ехать в мою вотчину и там повенчать их разрешил священнику. Вот тебе выпись. Читай, коли читать умеешь.

Он вынес и дал ему бумагу. Молявка молча прочитал ее.

— Ну, видишь,— продолжал воевода,— что сделала твоя жена? Сам на себя пеняй, что не в законное время затеял венчаться. Да, впрочем,

нечего тебе о ней тужить. Если она, тотчас после венчанья, оставшись без тебя, не захотела ждать тебя, а связалась с другим, туда ей и дорога! Ты — сотник: поищи себе другой, получше, и породовитее, и познатнее. Боже благослови тебя на все доброе!

Молявка ничего не сказал, поклонился воеводе низко и вышел с выписью. У него блеснуло такое подозрение: вероятно, Ганна была в связи с этим холопом и хотела только для прикрытия выйти замуж за другого; но когда Молявка ушел в поход, они сговорились и ушли, а потом в чужой стороне обвенчались.

Архиепископ Лазарь Баранович, старик под шестьдесят лет, страдавший болезнью, называемой в Малороссии "гостец", и беспрестанно жаловавшийся на свои недуги, был между тем необыкновенно деятелен и в писаниях и в делах по управлению епархиею и ко всем доступен. Переселившись из Новгород-Сиверского в Чернигов в 1672 году, Лазарь избрал себе местопребывание в Борисоглебском монастыре, им основанном или возобновленном в самой средине города, недалеко от древнего св[ятого] Спаса. Каждый день у него были определенные часы для приема посетителей по делам. Молявка-Многопеняжный попал к нему в такое время, когда случайно у святителя не было никого,— келейник допустил его. Владыка в черной рясе и в клобуке сидел за столом, на котором была навалена куча писаной бумаги. Молявка-Многопеняжный поклонился ему до земли, а Лазарь, приподнявшись, благословил его и, устремивши в него свои старческие, но еще не утратившие огня глаза, приготовился его слушать. Стоя перед архиепископом, Молявка-Многопеняжный рассказал подробно историю исчезновения жены своей и незаконного вступления в брак с другим при живом прежнем муже. При этом он дал заметить, что подозревает участие воеводы. Лазарь, выслушавши внимательно, произнес: "Человече! Бегай клеветы. Ужасное то чудовище, триглавное и многоязычное и на киждом языце клюв острый, пронзающий, как у птаха драпежного, и тым клювом долбит душу, и того ради от клюва такового клеветою нарицается".

Но когда Молявка-Многопеняжный сообщил, что воевода отнесся неуважительно аб архиепископе и твердил, что архиепископ незаконно поступил, разрешивши венчание в Петров пост, Лазарь произнес:

— Ему ли пристало судить о том! Его дело город строить да царских ратных людей кормить и одевать. Знал бы он от ратных людей корма карман себе набивать, как они, воеводы, обвыкли творить, а когда можно и когда не можно венчать, о том бы не додумывались, понеже то решать належит нам, а не им. Не властны мирские в наши дела входить, бо як у нас мовиться: коли не піп, то і в ризи не суйся! Архиерееве суть божиих тайн толкователи, и аще мирянин дерзнет в духовну справу самовольно вторгаться, то не точию от нашего смирения будет неблагословен, но и от самого Бога осуждение приимет.

Молявка-Многопеняжный показал владыке выпись за рукою священника о браке его жены с иным и просил по ней выдать ему разрешение на вступление в новый брак. Владыка, просмотревши выпись, сказал:

— Печать церковная есть. Так. В сведоцтве повенчана называется Анна Филиппова дочь Кус, а я знаю, что та Анна Кусивна с тобою повенчана была. Егдо — от живого мужа вдруге замуж пошла. В Евангелии Господь возбраняет мужу от жены отторгаться словесе разве прелюбодейного, а прелюбодеяние жены твоей явно и несомненно есть. Имаши и ты право вступить в иное супружество, аще пожелаеши. Лучше-бо женитися, неже разжизатися. Ты воин, а не инок, давший обет девства, в мире живешь, и трудно тебе в чистоте пребыти, понеже к тому и млад еси. Повелим тебе дать из нашей консистории сведоцтво на вторичный брак, а сию выпись нам оставь: возбудим, аще потребно будет, церковный суд над женою твоею.

Через несколько дней Молявка-Многопеняжный получил из консистории свидетельство на вступление во вторичный брак и показал его матери и Булавке. Оба пришли в восторг. Булавка взялся быть сватом в доме родителей племянницы пани Борковской.

Собрались Молявки к переселению и через неделю выехали в Сосницу, провожаемые Булавкою и его женою. Кусов не видал более Молявка-Многопеняжный и не считал нужным более видеть их... Собственно, он никогда не любил глубоко Ганны, а собрался жениться так себе, как женится большая часть людей, увлекаясь притом ее красотою. Теперь же он — сотник, Ганна — простая казачка, да и, не могла она, как ему казалось, быть невинною в своем незаконном браке с воеводским холопом...

XII

Новый сосницкий сотник, приехавши на новоселье, поместился в дом, который занимал прежний сотник, уехавший в пожалованное ему имение. Молявка-Многопеняжный первым делом почел съездить в ранговую сотницкую маетность и заявить о себе тамошнему поспольству, как о новом господине сотнике. Вернувшись в Сосницу, он занялся постройкою двора для ожидаемого туда Дорошенка в просторном, отведенном для того по гетманскому приказанию месте, получил через присланного от гетмана канцеляриста деньги, нанимал плотников, столяров, маляров, кровельщиков и всяких мастеров, надсматривал над их работами, а для временного помещения Дорошенку нанял двор близ самого того двора, где жил сам. Еще двор, который начали строить для Дорошенка, далеко не был окончен, а Дорошенко 1 ноября приехал, на первый раз, однако, без семьи.

Бывший Чигиринский гетман был встречен сотником, низкорослым, тонким, с птичьим носом писарем и хоружим, толстолицым, кругловидным человеком с постоянно открытыми губами. Сотенные старшины, встретивши Дорошенка за городом, шли с открытыми головами обок его колясы. Толпы сосницких жителей, и казаки и посполитые, бежали, глазея на павшее величие, недавно еще наводившее своим именем страх на левобережную Украину, так часто ожидавшую его вторжения с своими союзниками-бусурманами.

Привели Дорошенка в назначенное ему помещение. Дорошенко, узнавши в сотнике Молявку, дружелюбно брал его за руку, радовался, что назначили к нему сотником знакомого человека. Но тут же запала ему мысль, что этот предупредительный и на вид услужливый сотник приставлен, чтоб надзирать за ним.

Дорошенко остановился в отведенном ему доме, где было два отделения: в одном — кухня и кладовая, в другом, на противоположной стороне через сени,— две просторные комнаты. На третий день после того он поехал к Самойловичу в Батурин. Самойлович принял бывшего своего соперника чрезвычайно радушно и гостеприимно: несколько дней сряду пировали, пили, веселились, потешались музыкою, заведенною у себя гетманом, и потешными огнями, ездили вместе на охоту. Желая показать свою верность к царю, Дорошенко сообщал гетману разные предположения и советы относительно обороны от турецкого вторжения, которое тогда ожидалось, и гетман, передавая их московскому правительству, уверял, что Дорошенко держит себя, как прилично верному царскому подданному.

Воротившись от гетмана, Дорошенко жил в отведенном ему дворе, и каждый день, как только он вставал ото сна, перед ним уже стоял неутомимый сотник, докладывал о ходе работ в постройке двора, спрашивал: не нужно ли того, другого, и показывал особенное удовольствие, когда мог услужить Дорошенку. Не раз ходил с ним вместе Дорошенко глядеть на постройку. Осматривая обширное место, отведенное ему при дворе, Дорошенко изъявил желание завести там когда-нибудь сад, и сотник на другой же день принялся рассаживать плодовые деревья. Постройка дворовых строений шла с чрезвычайною быстротою; в первых числах декабря, благодаря щедрости в издержках и множеству рабочих рук, дом, где должен был жить сам хозяин, был уже готов, поставлены и первый раз протоплены печи, а восемнадцатого числа совершено было освящение. Дом состоял из четырех покоев, довольно обширных и светлых, убраны были они просто и чисто, как обыкновенное жилище зажиточного малороссийского хозяина: зеленые муравленые печи, обмазанные мелом с молоком

стены, лавки с полавочниками, столы, застланные килимами, ряды образов в передних углах с торчащими в маленьких подсвечниках восковыми свечечками, четыре кровати, размещенные в задних комнатах, висячий умывальник над медным большим тазом в сенях... Осматривая новоселье вместе с Молявкою и духовенством, приглашенным к освящению, Дорошенко казался им очень доволен, говорил, что желает окончить дни свои в этом уголку, а когда остался один на один с сотником, спросил его:

— Козаче-товаришу! Скажи мені правду щиру. Призивав тебе особисто гетьман, як тебе сюди сотником наставив?

— Призивав,— отвечал сотник.

— А що він тобі тоді казав? — говорил Дорошенко.— Казав, щоб ти за мною пильно доглядав і назирав і йому про мене звістку давав? Так, серденько?

— Отже, не так,— отвечал Молявка-Многопеняжный.— Казав пан гетьман, щоб я робив для тебе усе, що тобі здається потрібним, і був би тобі у всім на послузі. Казав, щоб я не доводив до того, щоб сам твоя милость попросив чого для себе, а щоб запобігав твому хотінню, казав до того, щоб я, Боже храни, чим твою милость не уразив і не роздражнив. От тобі хрест святий, що се мені гетьман, призвавши до обозу під Вороновкою, розказував. А того, щоб я за твоєю милостію назирав, сього і не потрібно було мене научати. Бо не в гнів твоїй милості буде: якби я що побачив от твоєї милості недобре, то і без гетьманської науки учинив би згідно з присягою, котру давали-м цареві.

— Добре кажеш, козаче,— отвечал Дорошенко,— отже, і я хочу жити згідно з присягою, що дали-м царському величеству перед гетьманом і царським боярином, і не маю ні з чим ховатись ні від тебе, ні від пана гетьмана. Тепер, як царське величество мене прийняв і я зрікся навіки свого гетьманства, то уже, єй-Богу, не хочу нічого, аби тільки жити

приватно без клопіт. Далебі, не жалію того нещасливого уряду гетьманського! Нічим добрим його спом’янути! Дяковать Богові, що ся вага з моїх плечей спала! От у сьому куточку віку доживатиму тихо і смирно, нічого не відаючи, ні о чім не дбаючи, що там на сьому многомятежному світі діяться буде! Відкрились мої сліпі очі: побачив я, що як ми тут добиваємось на світі, всі великощі світові — усе порох і сміття! Подарував мені пан гетьман маєтку, по весні поїду туди, буду розпорядковати, хозяйновати, а тут у дворі сад, бачиш, заводжу: може, Бог доведе і плоду з його покуштовати! Об тім тільки думаю, аби матері моїй і родичам зоставлена в Чигирині худоба не пропала, як война там почнеться.

— Коли, не дай Боже, те станеться,— сказав Молявка,— пан гетьман нагородить твою милость і всіх родичів твоєї милості совито на сім боці.

— Пан гетьман так і обіцяв,— сказал Дорошенко.— Я йому вірю, у його серце дуже добре, дай Боже йому здоров’я.

На праздниках Рождества Христова приехала семья Дорошенка. За ними приехала прислуга, привезли на подводах на двадцати разные припасы и домашнюю рухлядь Дорошенка. Тогда один из покоев в новопостроенном доме оставлен был для приема посетителей, а в остальных разместился он с своею семьею, состоявшею тогда из жены, малолетней дочери и брата Андрея. У Петра Дорошенка с женою тотчас же начались обычные несогласия. Молявка-Многопеняжный постоянно, как и прежде, посещавший Дорошенка и всеми мерами услуживавший ему и угождавший, был свидетелем бурных семейных сцен между несогласными супругами, и Дорошенко, зная от самого Молявки о его несчастном приключении, говорил ему:

— Не журися, пане сотнику, що у тебе жінку відняли. Буває з жінкою справжнє пекло, от як і мені. Ожениться чоловікові буває діло добре, тільки рідко удачливе. З тобою, може, сталось би таке ж, як і зо мною. А коли тебе жінка покинула, то і дякуй за се Богові!

Молявка-Многопеняжный сказал Дорошенку, что одинокому жить скучно и он, может быть, женится снова. Дорошенко воскликнул: "А не дай тобі Господи! Нащо тобі та жінка здалася — камінь за плечима!"

На праздник Богоявления в 1677 году приехал к Дорошенку тесть его Яненко, проезжавший из Чигирина в Новые Млыны, где гетман указал ему жительство и в окрестности этого местечка подарил ему имение. По этому поводу был у Дорошенка роскошный обед. Сотник, разумеется, был приглашен туда. Яненко, видя, что зять его относится к сосницкому сотнику по-дружески, и сам так же стал относиться к нему. У Молявки-Многопеняжного между тем назревала лукавая мысль: соблазняла его возможность отличиться перед гетманом своею умелостью надзирать за Дорошенком; очень хотелось ему, чтоб кто-нибудь, либо само он, либо иной из его родни, переведенной на жительство на левую сторону Днепра, проговорился, а он бы донес о том гетману. Его намерению помог неосторожно брат Петра Дорошенка — Андрей.

Завелся за обедом разговор о Юраске Хмельницком, бывшем тогда в Украине героем дня. Петро Дорошенко сказал:

— Я його знаю давно, як йому був тільки сімнадцятий год і наставили його гетьманом. О, сміху було немалого з того гетьманства! Я тоді прилуцьким полковником був. Боярин Василь Борисович Шереметєв, будучи в Києві, на всю громаду примовив: "Этому гетманишке только бы гусей пасти, а не гетмановати!" Ми всі, скільки нас було там, трохи не луснули з реготу!

— За таку ущипливу примовку на нашого гетьмана боярин Василь Борисович достойно сидить уже двадцятий год у тяжкій неволі,— сказал Андрей Дорошенко.— Отож йому Бог заплатив! Глядіть же, аби Юраска тепер не показав, що прийшов йому час не гусей пасти, а москалів бити! Як би він москалям і козакам лівобережним не задав прочухана! Ось побачите. Сила турецька велика; москалеві з нею не справитись! До Юраски весь люд сипне, не тільки з того боку, а навіть і

з сього, як тільки почує, що за турецькою поміччю іде батьківщину свою відбирати.

Со злобною радостью слушал эту речь Молявка-Многопеняжный, только и хотел, чтоб от Петра Дорошенка последовал ответ в таком же духе, но Петро Дорошенко, строго взглянувши на брата, расходившегося от немалого употребления вина, сказал:

— Андрію! Не подобно таке верзти. Ми вже свою справу покінчали, усе утеряли. Прохали-сьмо у царя ласки і притулу і одібрали-сьмо. Маємо до кінця нашого віку дяковати сердечне великому государеві за милость, а не хвалити царських злочинців.

— Я, брате Петре, їх не хвалю,— отвечал опомнившийся Андрей,— я кажу тільки, яке нещастя нам трапитися може, а того я не жадаю, щоб воно сталось, не дай Боже!

После этой беседы Молявка-Многопеняжный, воротившись домой, настрочил донесение к гетману, где изложил слышанные им на обеде у павшего гетмана речи Андрея Дорошенка, произнесенные в нетрезвом виде, но в своем доносе не солгал и написал, что Петро Дорошенко остановил своего брата и пожурил его за непристойные слова.

Донос этот пришел не совсем кстати для Молявки-Многопеняжного, хотя не остался без вреда для Петра Дорошенка.

Через несколько дней после того поехал Андрей Дорошенко в Батурин к гетману по очень важному делу, в котором мог угодить Самойловичу. Производился суд над стародубским полковником Рославцем и нежинским протопопом Адамовичем. Эти господа подавали донос на гетмана в Москву, но были отосланы к гетману для предания их войсковому суду. Низложенный Чигиринский гетман посылал своего брата Андрея с уликами, важными и полезными для Самойловича. Андрей прибыл в Батурин тотчас после того, как гетман получил донос

от Молявки-Многопеняжного. Видел Самойлович на деле расположение к себе Дорошенков, принял Андрея очень радушно и прямо спросил его: зачем он произносил непристойные речи на обеде у своего брата Петра о силах Юраски Хмельницкого, которых будто бы Москва не одолеет? Хотя Самойлович не сказал, откуда он узнал об этом, но Андрею нетрудно было догадаться, что донос на него послан сосницким сотником. Андрей Дорошенко сразу сознался во всем, извинялся тем, что был тогда в подпитии, и клялся быть вперед осторожнее. Самойлович поверил его искренности, притом сознание Андрея ни в чем не противоречило доносу Молявки-Многопеняжного. Самойлович ограничился легким внушением Андрею, но из осторожности написал об этом в Москву. В Москве же в Малороссийском приказе рассудили так: за Петром Дорошенком ничего предосудительного не замечено, но у него в доме произносятся непристойные речи, и чаять, коли Петра Дорошенка из Украины вывести прочь, то будет спокойнее.

На Андрея Дорошенка не обратили большого внимания, тем более что, по донесению Самойловича, слова произносимы были "в подпитии". Все навалились на Петра, даром что Петро никак не одобрял выходок своего брата. Вышло по пословице: с больной головы на здоровую! Из Москвы послали к Самойловичу указ прислать Петра Дорошенка в Москву "для совета о воинских делах". Самойлович, в ответ на требование о присылке Петра, представил в Приказ, что Петру Дорошенку обещано было царским именем жить в Малороссии и он ведет себя смирно: не следует его так скоро трогать с места жительства во избежание волнений в народе. Пославши такой ответ, Самойлович думал, что теперь уже не станут более требовать присылки в столицу Дорошенка.

Андрей Дорошенко, воротившись из Батурина в Сосницу, рассказал брату Петру, что гетману уже известно про то, что говорилось за обедом насчет вступления Хмельниченка с турецкими силами. Для обоих братьев стало тогда ясно, что донос сделан был сотником сосницким; оба брата положили между собою не допускать этого человека до близости к себе.

Но ни объясниться с Молявкою, ни даже дать ему почувствовать, что Дорошенкам известна его проделка, Петру не удалось. Молявка-Многопеняжный, испросивши письменно от гетмана разрешение, уехал к Бутримам, у которых Булавка успел высватать ему невесту. Вместо себя он поручил управление сотнею хоружему. Прошел генварь. Во второй половине февраля настала масленица. Гетман Самойлович просил прибыть к нему Петра Дорошенка. Поехал к нему Петро, пробыл у него всю масленицу; вместе пировали, веселились, ездили с собаками на охоту. Гетман не сказал Дорошенку ни слова о том, что уже приезжал царский посланник требовать его высылки в Москву: гетман думал, что московское правительство уже успокоилось его представлениями и что уже все кончено, а потому не хотел беспокоить своего гостя.

В понедельник на первой неделе великого поста Петро Дорошенко выехал из Батурина в свою Сосницу без всякого дурного для себя предчувствия. Но на следующий затем день приехал в Батурин новый царский посланец с требованием выслать Петра Дорошенка в Москву. Нечего было делать Самойловичу. Он принужден был уступить, тем более что ему обещали со временем отпустить Дорошенка по желанию гетмана. Послал Самойлович к Дорошенку генерального судью Домонтовича с письмом такого содержания: "Пане Петро! Поїжджай без жодного сумнительства до Москви. Тебе затим тільки зовуть, щоб видить царськії очі, і хочуть тебе розпитать про справи турецькі і татарські".

Словно громом поражен был Дорошенко, когда такая неожиданность стряслась над его головою. Для малороссиян в тот век ехать по зову в Москву представлялось чем-то зловещим, для Дорошенка — тем более, когда он, сдаваясь царю, так настойчиво домогался, чтоб ему дали обещание оставить его на родине. С горечью произнес он:

— Хоч би на смерть кому велено було йти, і тому би преже дали знати. Суди Бог пану гетьману, що не звістив мене зарані!

Недолго он собирался, хотя Самойлович, посылая за ним Домонтовича, не приказал торопить его. 8 марта 1677 года уехал он навек из милой Украины. Горькими слезами разливалась его старая мать и малолетняя дочь, плакал и брат Андрей, но жена Петрова осталась безучастною и, проводивши мужа, не стеснилась произнести: "Слава тобі, Господи! Увезли від мене мого нелюба!"

Через неделю после отъезда Дорошенка воротился в Сосницу Молявка с молодою женою.

XIII

Новый тесть Молявки, Бутрим, был когда-то полковым есаулом при черниговском полковнике Небабе еще во времена Богдана Хмельницкого, но, пробывши в этой должности года три, стал войсковым товарищем и, получивши маетность в Черниговском полку, занялся исключительно увеличением своего состояния. Благо, что полк Черниговский был один из тех, которые менее других подвергались опустошениям в оные бурные времена. В течение двадцати лет Бутрим успел значительно разбогатеть захватом займанщин, чем тогда обыкновенно богатели украинские землевладельцы. Из своего села, которое ему бесспорно принадлежит, помещик высылает своих подданных, семью или две, заводить хутор или слободку, присвоить к этому хутору леса, сенокоса, лугов, пашни, сколько захочет и сколько будет возможно в окрестности; иногда, встретив тут же поселившегося прежде него козака, подпоит его и выдурит у него поле выгодною для себя продажею, а если заметит, что хозяин поля не зубаст, то и так отнимет и к своей земле примежует. Так заводились новые поселения. И Бутрим расширялся таким способом и на все свои выселки выхлопотал себе полковничьи листы, утвержденные в гетманской канцелярии. Бутрим жил в ладу со всеми черниговскими полковниками, даром что они менялись часто и поступавший вновь на уряд был врагом смещенному: Бутрим со всеми одинаково ладил и дружил. Но ближе всех находился он с Дуниным-Борковским, потому что Бутрим и Дунин-Борковский женаты были на родных сестрах. Было у Бутрима четыре

дочери: из них две были уже выданы в замужество, третья выходила теперь за Сосницкого сотника. Бутрим считался во всем соседстве, да и сам себя считал, большим мудрецом в житейских делах и любил давать советы. Когда приехал к нему Молявка женихом его дочери, Бутрим набивал ему в голову, что его положение редкое, отменное и всем завидное: в короткое время из рядовика стал он сотником, да еще каким! — не выбранным казаками, а сам гетман его назначил и поручил ему важное царское дело — надзирать за Дорошенком. Будут и в Москве знать про него. И стал Бутрим делать соображения: как бы кстати было, если б у Дорошенка объявились какие-нибудь недобрые речи против Москвы, а это, казалось, дело возможное; тут бы сотник, узнавши, сообщил гетману, а гетман в Москву, и поднялся бы высоко Молявка. Зять не утерпел и сообщил тестю, что уже сталось именно то, чего тесть желал бы,— а Бутрим очень похвалил Молявку за его поступок, советовал, однако, хранить пока это дело в большой тайне, но пророчил из него важные последствия, благоприятные для Сосницкого сотника.

Мать Молявки была вне себя от удовольствия, что сын ее вступает в. свойство с таким панским семейством, с такими богатыми и знатными людьми. "Это,— говорила она,— не то что какие-то там Кусы". При воспоминании о последних она открещивалась и благодарила Бога за то, что избавил ее сына от них. Преусердно старалась тогда старуха Молявчиха сдружиться с панею Бутримовою, которая, однако, хоть и была любезна, но тут же показывала, что она себе на уме, и обращалась с Молявчихою свысока. В Малороссии в те времена было в нравах, что кто разбогатеет, тот смотрит уже свысока на всякого, кто победнее его и похуже живет. У женщин эта черта выдавалась еще резче, чем у мужчин.

Пышно отпраздновали свадьбу пана Молявки-Многопеняжного с панною Бутримовною, по извечному прадедовскому обычаю, со старостами, дружками, боярами, со всеми обрядами, сохранившимися до нашего времени у простолюдинов, но в описываемые нами времена соблюдавшимися и в знатнейших панских домах. Свадебный персонал

обоего пола составился из семей окрестных значных товарищей, съехавшихся к Бутримам нарочно по их приглашению. Во дворе панском поместиться всем было невозможно, поэтому на время удалили нескольких нос политых подданных и заставили их поместиться у соседей, а собственные жилища уступить гостям. Впрочем, никто из подданных не лишен был участия в празднике своих панов: на панском дворе расставлены были столы, и за ними угощали народ горилкою и свининою. Пир шел целых три дня, и в это время много было съедено кормленых кабанов, баранов, кур, гусей, индеек; с утра до вечера гремела музыка, и в доме и на дворе раздавался топот пляшущих, а по ночам в увеселение гостям и толпе народа замечались потешные огни. После пяти дней стали разъезжаться гости, за исключением самых близких, принадлежавших к свадебному персоналу: те оставались до отъезда новобрачных. Родители упаковали "скриньку" новобрачной, состоявшую из полдюжины больших сундуков с приданым: там были женские наряды и уборы, саяны, кафтаны, плахты, шубки, рубахи, наволоки, одеяла, завесы, чехлы, мониста, серебряная посуда, шкатулки с разными безделушками — все, что по тогдашнему образу жизни составляло домашнее богатство значных людей. Ко всему этому прилагалась опись, потому что в случае смерти дочери приданое возвращалось в ее род, если она не оставляла детей. Бутрим вручил дочери и зятю документ на уступаемое ей имение, но этот документ был написан так, что дочь его могла сделаться полною владелицею своего имения разве только после смерти родителя; при своей жизни предусмотрительный родитель все-таки оставлял за собою возможность держать в руках и имение дочери и ее самое с мужем в зависимости от себя. Наступил день отъезда. Ко крыльцу панского дома подвезли крытые сани. Новобрачные и мать Молявки вышли, совсем одетые по-дорожному; родители невесты, стоя с образом, благословляли их последний раз, а новобрачные поклонились им до земли. Тогда оставшиеся у Бутрима гости свадебного персонала, стоя вокруг отъезжавших, запели жалобную песню, где говорилось об отъезде дочери от родителей в чужую дальнюю сторону. Под голос этой песни сели в сани Молявки и двинулись в путь.

Приезд Молявки-Многопеняжного в Сосницу с молодой женой, казалось, был для него истинным триумфом. Первою новостью, которую услышал он, было известие об увозе Петра Дорошенка в Москву. Вспомнил он пророчества Бутрима и обрадовался: он догадался, что все это сделалось по его доносу и теперь его знают в Москве, он сослужил царю службу и надеется, что за то будет в милости у гетмана и у верховных властей. Но хоружий, управляющий сотнею во время отсутствия сотника, сообщил ему другую, не так приятную новость.

Вот что произошло в Соснице за то время, когда Молявка ездил сочетаться браком. Андрей Дорошенко ездил к гетману с уликами против Рославца и Адамовича вместе с сотенным писарем Куликом. Этот Кулик с первого раза невзлюбил Молявки. Находясь вместе с Андреем Дорошенком в Батурине, он близко знал, что гетман принял Андрея чрезвычайно ласково. Воротившись в Сосницу, Кулик бросил между казаками мысль, что можно было бы упросить гетмана дозволить учинить выбор сотника и избрать Андрея. Вслед за тем скоро приехал в Сосницу генеральный судья Домонтович за Петром Дорошенком и гласно заявил, что гетман получил из Москвы "лист", где, в утешение Дорошенкам, ему поручалось давать, по своему усмотрению, его братьям и родственникам должности в войске Запорожском.

Петра Дорошенка увезли. Сотника Молявки-Многопеняжного не было. Писарь, опираясь на слова генерального судьи Домонтовича, стал действовать смелее и настроил против Молявки атамана городового Крука. Родился у этого атамана ребенок; родитель пригласил к себе на крестины четырех куренных атаманов из соседских сел. Кулик был восприемником. На крестильном пиру подвыпившие гости стали рассуждать о своем сотнике: все вообще мало были им довольны; его обращение с подчиненными было как-то сухо и заносчиво; замечали, что был он корыстолюбив, а главное — противен им был он тем, что был не выбран казаками, как бы следовало по вековому обычаю, а назначен сверху, не спрашиваясь, хотят или не хотят его подчиненные. Кулик объяснял, что это все сталось только потому, что в Соснице указано было жить Петру Дорошенку и нужны были вначале для него разом и

помощь, и надзор над ним. Теперь же Петра Дорошенка в Соснице нет; теперь можно подать гетману челобитную, чтоб дозволил выбрать сотника по обычным, извечным войсковым правам: такой выбор будет по нраву самому гетману. Все согласились. Писарь составил челобитную, атаманы, бывшие у Крука, приложили руки и обещали склонить на свою сторону и хоружего, но хоружий держался Молявки; ему казалось, что назначенный самим гетманом сотник сидит так крепко на своем месте, что скорее пошатнется тот, кто задумает столкнуть его с места. Хотя Кулик не рассказал хоружему всего, что происходило у Крука, но Хоружий сам про все пронюхал. Когда Молявка воротился в Сосницу, хоружий донес ему, что против него затевается.

Взъярился Молявка, закипел досадою, и женщины — мать и жена — стали обе разом побуждать его не спускать своим недругам. Недолго думая, сотник приказал позвать к себе атамана городового и сотенного писаря.

Надменно встретил он позванных, одною рукою подпершись в бок, другою заложивши за пояс, обвивавший его кармазинный кафтан, не кивнул головою в ответ на их глубокий поклон и разразился такою речью:

— Що се я вам став негожий? Ви збираєтесь між собою та радитесь: кого собі в сотники іншого обрати? Забули єсте, мабуть, що не ви мене обирали, а сам ясновельможний гетьман мене над вами поставив без вашого "сирна"? А хіба того не знаєте, що коли проти мене йдете, то усе рівно, що проти самого гетьмана супиняєтесь? А ви знаєте, що то єсть супинятися проти нашого гетьмана. Петро Рославець не вам рівня,— а що з ним сталось? Знаєте ви, скурві сини: маленьку цидулу напишу до ясновельможного, так вас зашлють туди, де і ворониня кісток ваших не знайде. Се все ти, Куличе! Твої се хірхулі! А ти, атамане Круку, як смів ти без мене курінних збирати?

— Пане сотнику! — сказал Крук.— Я не збирав. У мене були гості, давні приятелі, на хрестинах. Сього ще ніколи не бувало, щоб ми

повинні-сьмо були твоєї милості запитоватись, чи можна нам до себе гостей звати, а звлаща в такій справі, як хрестини. Твоєї милості тут не було. Не зоставляти ж дітей наших нехрещених, дожидаючись, поки волить вернутися, твоя милість!

— А ви на своїх хрестинах про мене розмовляли, мене судили, як би мене з сотництва звести, радилися! А! Так, кажи! Були між вами такі річі? — спрашивал сотник.

— Пане сотнику,— сказал городовой атаман,— я твоїй милості одповів і ще скажу: звав я гостей на хрестини, а що там говорилось, коли пилось і їлось, так ми тоді ж і забули-сьмо; підпилі були!

— Ось я позову хлопців, да розтягну вас отут, да киями добре одшмарую! — сказал с увеличивавшеюся запальчивостью сотник.— Ви не гадайте й не помишляйте, щоб мене вашою волею з сотництва звести. Я не такий сотник, як інші, що виберете самі да потім і коверзуєте, як хочете. Мене сам ясновельможний гетьман над вами наставив, а все через те, що мене знає і на мене більш полєцається, як на всю вашу громаду. Мені гетьман дозволив писати просто до його власних рук, а другі сотники того не сміють, мусять через своїх полковників зноситися з гетьманом. Тільки я один на всю Україну, один такий сотник, що до самого гетьмана просто пишу. От і знайте мене. Ти, Куличе, скурвий сине, пся кров, хлопська юха! Ти, ти всьому привідця, собачий сине!

Он схватил Кулика за грудь и начал трясти его. Кулик, пригнутый сильной рукой Молявки, поклонился ему до земли и говорил:

— Пане вельможний! Не гнівися. Твоя во всім воля, тільки я проти милості твоєї ні в чім не прошпетився; певне, твоїй милості на мене щось наплетено.

— Знаю я вас, лукавих синів! — сказал сотник.— І ви ж знайте мене, коли так. Тягатися зо мною у вас мочі не стане. Перш усі ви з вашими жінками і дітьми пропадете, у Сибір підете, ніж мене од себе зведете. За мене гетьман, а за гетьманом і сам цар! Куди ж вам, чорнякам, до мене? Пошліть козаків до курінних, щоб з'їздилися до мене віншовати мене з малженством і везли б мені належитий ралець од себе і од своїх куренів. Чуєш?

— Чуємо, вельможний пане сотнику!— в один голос сказали атаман и писарь.

Во время этого разговора мать и жена стояли позади и потешались величием: первая — своего сына, вторая — своего мужа. Старуха Молявчиха еще каких-нибудь полгода назад и мысли к себе допустить не смела, чтоб ее сын так распекал чиновных людей, писарей и атаманов, а теперь довелось ей тешиться, смотреть, как перед ее сыном корятся и смиренно кланяются писари и атаманы; Бутримовна же и воспиталась в такой семье, где ей внушали с детства, что она выйдет за знатного человека, такого, что будет иметь право других гнуть и жать! Это был идеал человеческого достоинства по понятиям, господствовавшим в том кругу, где взросла Бутримовна.

Вышедши от Молявки, писарь Кулик сказал атаману Круку:

— Пане куме! Посилай козаків звать курінних, як розказує пан сотник, а тим часом мерщій запрягаймо коні в санки та чухраймо до Батурина: подамо нашу супліку гетьманові! Що буде, те нехай буде. А я сподіваюсь певне, що станеться по-нашому. Поки з'їдуться у Сосницю куренні — ми тим часом вернемось. Тоді з гетьманської волі зберемо раду вибирати сотника.

И в тот же день уехали они из Сосницы.

Сметливый человек был писарь Кулик. Слыхал он прежде, что у гетмана Самойловича в большом доверии Мазепа, и к нему-то Кулик с Круком обратился прямо. Он представил ему, что казацкая громада очень недовольна назначенным ей от гетмана в сотники Молявкою и просит возвратить ей старинное право избрать сотника по своему желанию вольными голосами.

Мазепа отвечал, что Самойлович и сам уже не очень доволен этим сотником: беспокойный он человек, лезет с пустыми доносами, успел уже доносами выжить Петра Дорошенка. Однако, прибавил Мазепа, Петру Дорошенку в Москве худо не будет; кроме того, из Москвы написали гетману, чтоб ласков был к его оставшейся родне.

"Стало быть,— заметили Кулик и Крук,— гетману не будет противно, если мы Андрея Дорошенка выберем в сотники".

Мазепа уверил их, что, напротив, гетману это будет особенно приятно. Взявши от них суплику, Мазепа отправился с нею к гетману. В тот же день написан был в генеральной канцелярии от лица гетмана лист, дозволяющий сосничанам избрать себе сотника по своим правам и вольностям. О Молявке-Многопеняжном в этом листе не упоминалось вовсе, как будто его в Соснице не бывало. Мазепа сам отдал гетманский лист "супликантам", и те немедленно уехали обратно.

Между тем куренные атаманы, по призыву разосланных к ним казаков, стали собираться в сотенный город; двое из них успели уже явиться к пану сотнику с поздравлениями, заявили ему о подарках от своих куреней и от себя лично; подарки эти состояли в штуках скота и ульях пчел, а от себя атаманы жертвовали новобрачным разные серебряные вещицы. Но они только заявили о своих дарах, а ничего отдать не успели.

Воротились из Батурина Крук и Кулик. Тотчас городовой атаман пригласил священника, мещанского войта и нескольких куренных,

успевших приехать в Сосницу. Он объявил всем, что будет рада по гетманскому приказанию. Зазвонили в колокол. Ударили в литавры.

Молявка не подозревал, чтоб городовой атаман и сотенный писарь осмелились ехать с супликою прямо в Батурин; напротив, Молявка думал, что напугал их своим грозным приемом, и они, желая загладить свою вину, выехали из Сосницы собирать куренных затем, чтоб те ехали с поздравлениями к сотнику. Оставаясь спокойно в своем доме, сотник услышал неожиданный звон колокола, бой литавр и послал казака узнать, что такое делается.

Вышел казак из Сосницкого дома, сделал несколько шагов по улице и очутился на площади перед церковью. Вышла толпа народа. Уже устроено было наскоро возвышенное место; на нем стояли Кулик и Крук, возле них куренные атаманы и войт; хоружий, приятель и сторонник Молявки, стоял тут же с ними и держал сотенное знамя.

Вот как это сталось. Когда Крук с Куликом, ворочаясь из Батурина, случайно встретили едущего хоружего, остановили и показали гетманский лист,— у хоружего разом, так сказать, открылись глаза. Он увидал, что Молявка-Многопеняжный вовсе не так силен и крепок, каким выдавал себя. Поэтому хоружий вдруг изменился, не счел уместным извещать своего бывшего приятеля о собравшейся над ним грозе, а совершенно отдался в распоряжение атамана городового и писаря, по их приказанию взял сотенное знамя и поспешил на раду. Писарь Кулик, развернувши гетманский лист, читал пред народом:

— "Иоанн Самойлович, гетман обоих сторон Днепра войска его царского пресветлого величества Запорожского ознаймуем сим отворчатым листом нашим гетманским города Сосницы и всей сосницкой сотни обывателям всех чинов людям иж ставши перед нами очевисто означенного города Сосницы атаман городовый Василь Крук и писарь сотенный Иван Кулик именем всех атаманов и Козаков и мещан и всего поспольства вышенамеченного города Сосницы и всей сосницкой сотни супликовали нам, просячи, абы мы-сьмо дозволили им

по стародавним их правам и вольностям войсковым обрати себе вольными голосами по своему излюблению сотника, на що мы, глядючи на старожитны права и вольности войска Запорожского, им на таковое обрание дозволяем, варуючи, еднак, абы по скончании такового обрання нам для конечной нашей о том сентенции оный выбор за рукоприкладством их доставлен был чрез его милость вельможного пана полковника черниговского, до которого регименту войскового сосницкая сотня належит".

Услыша такую речь, посланный Молявкою казак не отправился назад, а остался смотреть, что дальше происходить будет.

— Андрій Дорошенко нехай буде сотником! — закричали атаманы, а за ними и казаки.

— Андрій Дорошенко! — повторило множество голосов мещанства и поспольства.

Андрей Дорошенко вышел из своего дома, услыхавши звук колоколов и бой литавр, совсем не приготовленный и не ожидавший ничего; Андрей Дорошенко не стал пробираться сквозь толпу, а стал близ церкви. Толпа казаков, увидя его, с криками бросились к нему, потащила и поставила на возвышенное место; атаманы накрывали его своими шапками, хоружий вручал ему знамя, все кричали: "На сырно! на сырно!"

Андрей Дорошенко стал было упираться, извиняться в своем недостоинстве, но Крук громогласно заявил, что такова воля всей громады и он не смеет противиться общему желанию.

Тогда казак, посланный Молявкою, ушел с площади и принес Молявке весть о состоявшемся выборе нового сотника.

— Як вони сміють! — закричал Молявка. За ним завопили на тот же лад его мать и жена.— То своєволя! То ошуканство,— кричал он,— то бунт проти зверхності. Я до гетьмана самого зараз поїду.

Вдруг вошел Кулик. Молявка бросился было на него с кулаками, скрежетал зубами от злости, но писарь обеими руками остановил его задор и дал совет вести себя потише:

— Уже мосьпан не сотник, громада вибрала другого сотника, Андрія Дорошенка!

— Що мені ваша громада! — кричал Молявка.— Я більший од усієї вашої нікчемної громади. Сам гетьман мене наставив над вами, так сам гетьман, коли захоче, має мене звести, а не ви, шолудиві!

Кулик объявил, что у них есть гетманский лист, дозволяющий выбрать нового сотника.

— Се лист підбірний, мальований! Самі його зложили! — кричал Молявка.— Гетьман такого листу не підпише. Покаж лист.

— Іди на раду до нового сотника,— він тобі лист покаже! — произнес Кулик.

— Не піду в вашу мужичу чернячу раду. І вашого задрипаного Андрія Дорошенка знать я не хочу. Більший і сильніший я од усіх вас. Пан гетьман мене наставив по царській волі, а се же усе рівно, якби сам цар мене наставив. Я вас усіх!..

— Нічого ти нам не вдієш!— сказал Кулик.— Лучче тихенько та любенько покорись громаді, зречись сотницьких маєток, поклонись новому сотникові, а потім вийся собі туди, відкіля узявся, або куди схочеш, туди од нас і дівайся.

— Чорти б нехай задрали вашого обраного сотника і всіх вас! — кричал Молявка.— Поїду до самого гетьмана. Ви в мене знатимете, бунтівники...

— Нічого твоїй милості їхати до гетьмана, бо лист гетьманський явне указує гетьманську волю над нами у сій справі. А лист той у нас!

— Подай мені сюди сей лист! Коли сам своїми очима побачу, що ясновельможний мене змістив, тоді і покорюсь,— сказал наконец начинавший опамятываться сотник.

— Добре, коли не хочеш йти до нас в раду, то ми тобі сюди принесем лист, тільки не я один принесу, бо ти ще вирвеш лист і зопсуєш його, а свідків не буде. А ми прийдем до тебе громадою.

Кулик, сказавши это, вышел. Молявка и семья его тревожились, не зная, за что приняться. Мать ломала себе руки и принялась за свои обычные жалобы на долю, которая всю жизнь ее преследует с сыном: ничего им не удается, поманила их доля большим добром, а теперь вот все пошло по ветру. Жена давала мужу совет ехать к черниговскому полковнику и просить, чтоб он заступился за своих родичей перед гетманом. Сам Молявка бегал быстрыми шагами взад и вперед, хватался обеими руками за голову и судорожно пожимал плечами. В сильном волнении он не находил, на чем ему остановиться, за что ухватиться.

Вошли Кулик, Крук и Андрей Дорошенко.

— Доброго здоров’я ласкавому пану-добродієві! — сказал Андрей Дрошенко.

Такое же приветствие повторил и Крук.

— Іще не віншовали-м твою милість на законному малженстві! — сказал Андрей Дорошенко.— Пошли, Боже, твоей милості доброго здоров’я і во всім щасливого повоженя на многая літа! Твоїй милості нехай відомо те буде, іж прийшов до сосницької громади от ясновельможного пана гетьмана лист, дозволячий вольними голосами обрати сотника. По тому листу гетьманському отворчатому сосницької сотні громада вольними і тихими голосами єдиностайно обрала на уряд сотницький мене, Андрія Дорошенка. Волиш зобачити сей лист гетьманський — от він, пане бувший сотнику!

Он поднес ему бумагу с выражением почтительности.

Молявка взял "лист", прочитал его, выпучил глаза в недоумении, потому отдал назад "лист" и минуты три молчал. И другие молчали. Наконец Молявка сам перервал молчание и сказал:

— Поїду до вельможного пана його милості полковника черніговського. Але ж, пане Андрію Дорошенко! Твоє сотництво це може вилами на воді підписано. Бачу, що ви добули якийсь лист з гетьманської військової канцелярії. А вже пан полковник дізнається от самого гетьмана, як воно сталось таке.

Все трое: Дорошенко, Кулик и Крук — изъявили ему желание счастливой дороги. В тот же день собрался Молявка и на ночь уехал с женою и матерью в Чернигов, а для громоздких сундуков с жениным приданым нанял подводы.

Полковник Борковский на ту пору недавно воротился из Чигирина, где с осени стоял со своим полком на залоге. Явились к нему Молявки. Полковник, узнавши от них, что все это случилось, тотчас же велел запрягать сани и отправился налегке в Батурин, а Молявке приказал дожидаться у него.

Ничего не удалось полковнику у гетмана. Самойлович объяснил ему, что назначил было в Сосницу сотника только того ради, что нужно было устроить прямо от гетмана наблюдение над Петром Дорошенком. Теперь же, когда Петра Дорошенка вызвали в Москву, наблюдать уже не над кем, и он, гетман, не считает себя вправе нарушать для сосницкой сотни извечные уставы войска Запорожского и запрещать сосничанам выбор сотника по их желанию. Не его, гетмана, в том вина, что сосничане не выбрали себе этого Молявку-Многопеняжного, а выбрали Андрея Дорошенка. Не утвердить Андрея не было никакого повода, тем более что и в Москве этим будут довольны.

Борковский просил чем-нибудь иным вознаградить Молявку. Самойлович отвечал, что когда-нибудь, со временем, он покажет ему милость, когда тот ее чем-либо заслужит. Борковский за это озлобился на гетмана. Самолюбие черниговского полковника было уязвлено тем, что гетман в этом деле не сделал ничего по его просьбе: с этой поры Борковский стал недоброжелателем гетмана.

Молявки уехали к Бутриму. Не очень радушно, не очень охотно поместил их у себя этот господин. Но делать было нечего: не оставлять же дочки на волю судьбы. Старая Молявчиха очень скоро повздорила с паней Бутркмовой; правда, она скоро и смирилась перед нею, потому что иначе негде было бы ей приютиться, но с тех пор играла жалкую роль приживалки, сносила от Бутримихи невнимание и явное к себе пренебрежение, а оставаясь наедине с сыном, горько плакала, жаловалась на свою долю и вооружала сына как против тестя и тещи, так и против жены. Жена Молявки, чувствуя превосходство и своего отца и свое собственное по отцу пред таким мужем, который остается без власти над другими, без богатства, без значения, стала обращаться с мужем заносчиво и высокомерно. Все терпел Молявка, потому что, бывало, как только поднимет он голос против сварливой жены, так за нее начинают вступаться тесть и теща, задевают его колкими замечаниями, напоминают, что он у них на хлебах живет и сам собственных средств не имеет, выражают вдобавок обидное сожаление, что ошиблись они, отдавши дочь за такого человека.

— Не живем ми тут, а мучимся,— говорил подчас матери Молявка-Моногопеняжный.

XIV

Челобитная черниговцев, всякого чина и звания людей, на воеводу Чоглокова была Борковским отправлена к гетману, а гетман без замедления препроводил ее в Малороссийский приказ. В то время Самойлович был в большой силе и в доверии у московского правительства, и царь Федор Алексеевич весь Малороссийский край держал, как говорилось тогда, в большом возлюблении. Чоглоков был неугоден малороссиянам, и на этом одном основании велено было его удалить с воеводства, не разбирая справедливости возникших против него Жалоб. В конце марта приехал Чоглоков в Москву,— у него там на Арбате был собственный двор. Тотчас же принужден был Чоглоков в Малороссийском приказе давать поминки и спустить большую половину того, что успел награбить в Чернигове. Так обыкновенно делалось тогда с царскими воеводами: их высылали "в городи" на воеводство, они там обирали жителей, а, по возвращении в Москву, их самих обирали в приказах. Чоглоков не мог тогда предвидеть, что одним этим он не отделается, и послал в свою Пахровскую вотчину приказание привезти красавицу Анну Черниговку с ее мужем Ваською Чесноковым.

Все было исполнено по его боярскому приказанию. Приехали из вотчины в Москву Васька и Макарка. Привезли они с собою и Ганну Кусивну.

Тогда в доме Тимофея Васильевича Чоглокова происходила вот какая сцена.

В своем боярском кресле сидел, развалясь, Тимофей Васильевич. Перед ним стоял Васька Чесноков. Тимофей Васильевич говорил ему:

— Так-то, любезнейший ты мой Васютка. Ты будешь приводить ко мне свою жену на ночь, как только я потребую, а я тебе о том буду давать приказ заранее. Жить вы будете у меня в особой надворной избе и всякую харчь получать от моего стола, одевать я вас буду паче других слуг моих и жаловать вас буду, оттого что я вас не за чужих, а за своих почитаю. Поживете годика три-четыре, я вас на волю отпущу с немалым награждением. Только чтоб этого, что между нами творится, никто не знал, только бы вы двое да я про то ведали, а другие все чтоб и не догадывались.

— Уж в этом положись на меня, государь! — отвечал Васька.— У меня все равно, что в могилу закопано. Никто не узнает. Я твоею милостью по горло доволен и по смерть свою не забуду того, что твоя государская милость мне делаешь. Уж поверь, государь, будет по твоему скусу твоей милости бабенка, а я за чистотою смотреть буду и чтоб не гуляла.

— Я на тебя, Васютка, надеюсь, как на каменную гору,— сказал Чоглоков.— Ну, а как везли ее, не порывалась она стречка дать?

— Она,— сказал Васька,— може, и убегла бы, да перво, что дороги не знала в чужой земле, а тут мы за нею глядели в четыре глаза. Только уж как привезли в вотчину да повели под венец, так больно артачилась. Только отец Харитоний на то не посмотрел: она кричит благим матом — "не хочу!",— а он "Исаия ликуй!" поет. Молодец поп! Ей-Богу, молодец! Потом уже тихо и смирно велась, боялась, чтоб ее не били; говорила только нам: "Делайте со мною, что хотите. Я ваша,— говорит,— невольница; я все равно что у татар в полону!" И работает, бывало, все, что ей прикажут. Только все скучна была да плакала почасту: бывало, как только сама одна останется, так и ревет.

— Ну что, бабьи слезы — вода,— проговорил Чоглоков.— Обживется — слюбится. И здесь, в Москве, смотри за нею, Васютка, чтоб не убегла. Пока еще она тут никого не знает? Держи ее, Васютка, так, чтоб, окромя наших людей, во дворе никто ее не знал.

— Опасно,— заметил Васька,— пока не обвыкнет, чтоб не вздумала заорать: "Я чужая жена, меня обвенчали с другим насильно!" А тут какой-нибудь лиходей подслушает и донесет. Мне за то как бы в ответе не быть перед твоею государскою милостию.

— Покрепче держи, позорче гляди — и не будешь передо мною в ответе,— сказал Чоглоков.

— Буду смотреть за нею строго, по твоему боярскому приказу,— сказал, поклонившись, Васька.

— Сегодня вечером приведи ко мне Анну! — сказал Чоглоков.

— Слушаю, государь,— сказал, поклонившись, Васька.

В людской избе собралась дворня ужинать. Ваське и Анне хоть назначил господин особый покой, и харч от своего стола, но был еще первый только день их приезда в Москву, и они до следующего утра расположились в общей избе. Ганна, одетая в цветной летник с кикою на голове, была похожа на чистую великороссиянку и молча сидела на лавке. Холопи и холопки поглядывали на нее с любопытством и делали друг с другом шепотом на ее счет замечания, а иные обращались с речью к ней самой, но она отделывалась короткими фразами, которые смысла другие понять не могли и все-таки не удерживались от смеха над малороссийским акцентом Ганны.

Сели ужинать. Ганна, по приказанию Васьки, села и взяла в руки ложку.

— Ну что, хохлачка? — сказал кто-то.— Скучно тебе небось без ваших вареничков? А?

Ганна принужденно осклабилась.

— Иди к своему гетману, вареничков у него попроси,— сказал другой.— Вон вашего гетмана привезли, говорят, и держат, как собаку, на цепи.

— Его поместили, говорят, на Греческом дворе,— заметил кто-то.

— На время. Построят особую избу для него,— заметил другой.

— А в Сибирь разве не пошлют его? — спросил кто-то.

— В Сибирь не зашлют,— объяснил другой,— он ведь не нашего царя был холоп, а польский или турецкий — черт его знает чей, только не нашенский; он сдался нашему царю в полой.

— Так, так,— заметили другие.— Ну, значит, он не сотру бил против нашего царя, так его в Сибирь не за что посылать, значит, его в Москве держать станут!

— Так коли он нашему царю сам сдался, зачем его не остановили там, где взяли? — кто-то спросил.

— А, видно, не годится! — ответил другой.

— Его там в своей стороне где-то поместили сперва, да проведали, что дуровать собирается, оттого сюда привезли,— сказал Васька.

Ганна не проронила ни одного слова, все слышала, все твердо запечатлела в своей памяти, но спросить ни о чем не смела.

— А как он прозывается? — спросил кто-то.

— Петра Дорошонок! — сказал Васька, живший недавно в Чернигове и наслышавшийся там об этом имени.

И Ганна вспомнила, что с детских, лет ее в кругу ее семейных и знакомых часто повторялось это имя; знала она, что и муж ее Молявка-Многопеняжный с казаками пошел в поход против этого Дорошенка.

Разговоры у холопей перешли на другие предметы. Ганна не вмешивалась и погрузилась в свою обычную задумчивость.

После ужина Васька вывел ее в сени и сказал:

— Анна! Боярин зовет тебя к себе на ночь!

Ганна ничего не ответила.

— Что, рада? — спросил Васька.

— Овсі не рада,— сказала Ганна.— Тільки те мені чудно: ставишся ти моїм чоловіком, а мене до іншого ведеш. Хіба така у вас віра?

— Такая, коли хочешь знать, у нас вера,— отвечал Васька,— чтоб слушаться господ своих и делать, что господа приказывают.

Ганна молча пошла вслед за Ваською.

— Здравствуй, девка,— сказал Чоглоков, оставшись с Ганною наедине,— здравствуй, красная! Видишь, опять ты со мною, душенька. Не бойся, я не лютый зверь, не задеру!

Ганна не показывала ни тени сопротивления, была послушна во всем, не начинала никакой речи и отвечала только, либо: "Не знаю", либо: "Як велиш".

Утром, когда еще Тимофей Васильевич на солнечном восходе спал как убитый, Ганна вышла от него, не пошла в людскую, а направилась к

воротам двора, выходившим на улицу. День был весенний, ясный. Москва уже была на ногах; народ сновал из улицы в улицу. Земля кое-где была еще грязна, но уже во многих местах просыхала. Ганна не знала, куда ей повернуться: она не бывала еще ни на одной московской улице, привезенная только вчера прямо в боярский двор Чоглокова. Наудачу пошла она влево, уперлась во двор, повернула еще налево, потом направо, шла, сама не зная, куда зайдет, и беспрестанно оглядывалась, не преследуют ли ее, не смея спросить никого из встречающихся. Улица, по которой она шла, раздваивалась, и Ганна решилась наконец спросить у встречной женщины, куда пройти на Греческий двор.

— Ах, родимая! Слышу по твоей речи, что ты не здешняя,— сказала ей женщина.— Первый раз, видно, в Москве?

— Первый раз,— отвечала Ганна.

— Трудно, родимая, ух, как трудно бывает здесь тому, кто первый раз в Москве, пока не привыкнет. Тебе на Греческий двор-то? Иди влево отсюда, а там, произошедши два переулка вправо, не иди туда, а будет третий вправо же, так ты туда иди, и все прямо, прямо, увидишь вдалеке колокольню большущую — Иван Великий прозывается, так ты все иди и на нее смотри, и дойдешь до стены белокаменной, и повернешь влево, и там спросишь Греческий двор, тебе люди покажут!

— Спасибі, тітусю! — сказала Ганна и пошла по указанному пути, устремляя постоянно глаза на золоченую главу Ивана Великого, блиставшую под лучами весеннего утреннего солнца. Но в сети запутанных московских улиц она опять сбилась с пути и стала спрашивать о Греческом дворе у встретившихся ей мужиков. Эти мужики не оказались предупредительны и любезны, как прежняя женщина, направлявшая Ганну к Греческому двору. Эти мужики, услышавши малороссийскую речь, стали поднимать Ганну на смех и передразнивать.

— Да ты, видно, украинская ворона залетела в Москву! А какая, черт ее не взял, красивая! Ходи с нами, добрыми молодцами, во царев кабак! Мы тебя угостим!

— Не хочу! — отвечала Ганна.— Я не піду з вами!

Но один мужик схватил ее за стан.

— Геть! — закричала Ганна.— Кажу, не піду я з вами. Пустіть!

— Пустіть! — передразнивали ее мужики, но Ганна вырвалась от них.

Она пошла скорыми шагами далее и боялась уже спрашивать дороги: научил ее первый опыт, что в Москве молодой красивенькой женщине было небезопасно расспрашивать дорогу у мужчин. Прошедши наудачу несколько улиц, она решилась, наконец, спросить у какой-то старухи, где Греческий двор. Старуха указала, что он был от ней уже в нескольких шагах.

Греческий двор стоял тогда на том месте, где теперь Никольский монастырь, называемый Греческим и построенный на Греческом дворе именно около того времени, когда совершались описываемые события. У ворот двора стояли караульные стрельцы.

— Тут Гречеський двір? — спросила Ганна.

— Тут! Кого тебе? — спросили караульные.

— Гетьмана Петра Дорошенка.

— Нельзя! — грозно отвечал караульный.— Зачем тебе его? Вон наш полуголова. Спроси его.

Он указал на ходившего по двору стрелецкого полуголову. Ганна подошла к нему, поклонилась и сказала:

— Чи не можна, добродію, побачить гетьмана Дорошенка?

Полуголова подозрительно оглядел ее с головы до ног и проворчал:

— Первое — он уж не гетман и величать его так нельзя. А второе — какое тебе до него будет такое дело? Ты черкашенка, что ли?

— Еге! — отвечала Ганна.

— Не велено без позволения от Приказа пускать к нему никого, кроме тех, что на Малороссийском дворе Черкассы в посольстве приехали,— сказал полуголова.— Ты из ихних, что ли?

— Я його родичка,— сказала Ганна.

— Что это такое: родичка? — говорил полуголова.— Родня ему приходишься, что ли?..

— Еге! — сказала Ганна.

— Хорошо, я сам поведу тебя к нему,— отвечал полуголова.

Петро Дорошенко, привезенный в Москву, был помещен на Греческом дворе и находился в состоянии, составлявшем средину между положением гостя и пленника. Уже он представлялся ко двору, удостоился целовать царскую руку, думный дьяк пред лицом самого великого государя изрек прощение всем его винам и противностям; затем ему сказано было, что он останется в Москве до окончания войны с турками для совета о разных воинских делах. С тех пор он жил на Греческом дворе; его действительно приглашали в Приказ раза три,

брали от него сказку о татарских и турецких путях, о средствах к обороне Чигирина и тому подобное. Между тем у его помещения стояло на карауле попеременно по двадцати стрельцов с полуголовами. Наконец в последние пред этим дни позвали его к думному дьяку Лариону Иванову, и тот сказал ему, чтоб он подал челобитную о доставлении ему в Москву жены его. Дорошенко ужаснулся.

— Великому государю, значит, угодно меня оставить здесь навсегда? — спросил он.

— Такой воли великого государя нет,— отвечал дьяк.— Но тебе указано жить на Москве, доколе не утишится война с неверными, а сколько времени она будет длиться, про то Бог весть. Мужу от жены врознь пребывати не подобает.

Нечего было делать Петру Дорошенку. Написал он со слов думного дьяка челобитную о привозе его жены. В ожидании привоза немилой ему жены и не зная, чем окончится его судьба, Дорошенко метался, словно дикий зверь в клетке. Донельзя опротивела ему тогда эта Москва. Думал было он спокойно доживать веку после своей бурной жизни в милой родной Украине, посреди родного народа, на полной воле, а его держат в московской земле, и притом в неволе, хотя не говорят ему, что он в неволе.

В это-то время стрелецкий полуголова привел к нему Ганну Кусивну.

Дорошенко ходил большими шагами по комнате в обычном своем волнении. Полуголова, вошедши с Ганною, сказал:

— Петр Дорофеевич! Вот эта женщина желает видеть твою милость. Говорит она: сродни твоей милости.

— Я не знаю этой женщины,— сказал Дорошенко, оглядевши Ганну. И потом, обратясь к ней, спросил: — Яка ти менi родичка?

— Я така тобі родичка, як усі наські люди тобі родичі,— сказала Ганна.— Ясновельможний гетьмане! Вислухай мене, я прийшла до твоєї милості за порадою. Поможи мені, бідолазі!

— Я не гетьман,— сказал Дорошенко,— навіть не полковник, жодного уряду не маю! Я просто в’язень у Москві! Чим я тобі поможу? Я сам бідний. Усі статки-маєтки свої покинув у Чигирині да у Сосниці.

— Я не грошей прийшла прохати,— сказала Кусивна,— хоч я така убога, що і хліба шматка не маю на чужій стороні, а прийшла до твоєї милості не за грошима, а за порадою. Вислухай мене, дай мені порадоньку, бідній, нещасній сироті, ні до кого мені повернутися, пригорнутися на чужій чужині, тільки до своїх людей.

И она, заливаясь слезами, повалилась к ногам Дорошенка. С головы ее спала кика. Ганна на первых порах сконфузилась, очутившись простоволосою, но не решилась надевать на голову противного, насильно ей навязанного московского головного убора.

И почему-то вспомнил Дорошенко, как перед ним со слезами валялись бедные украинцы, когда он их отдавал сотнями в неволю туркам и татарам. Не жаль ему их тогда было, потому что думал он тогда не о лицах поодиночке, а о целой отчизне, которой хотел добыть свободы и независимости. Теперь уже об этой отчизне он не думал, потому что сам погубил ее. Теперь жаль ему стало неизвестной женщины, валявшейся у ног его.

— Встань, молодице,— сказал он.— І кажи, звідки ти?

— З Чернігова,— отвечала Ганна.— Козацького роду, по батькові Кусівна. В Петрівку торік віддали мене заміж, владика дозволив повінчати, а мій молодий в той же день пішов у похід; а я ввечері пійшла по воду до річки Стрижня; в потайнику мене ухопили, очі і рот зав’язали і приволокли до воєводи, а воєвода зґвалтував мене і відослав з своїми

людьми у свою вотчину під Москву і там приказав мене ґвалтом повінчати з своїм чоловіком, а потім, приїхавши сам до Москви, приказав мене привезти, хоче, щоб я жила з тим його чоловіком, з яким мене ґвалтом повінчано, а йому самому стала підложницею.

— А твій перший чоловік живий ще? — спросил Дорошенко.

— Не знаю, ясновельможний пане, чи він ще живий,— отвечала Ганна.— Його зовуть Яцько Молявка-Многопіняжний. Його в поход угнали, а мене ухоплено,— і з тієї пори я про його не чула.

— Молявка-Многопіняжний! — воскликнул Дорошенко.— Я твого чоловіка добре знаю. Він тепер уже сотником у Сосниці. Казав він мені, що у його жінку украли і віддали за другого, казав! Яку ж я тобі, молодице, пораду дам? Іди, молодице, до думного дяка Ларіона Іванова і усе йому повідай, як отсе мені повідала. Я ось тобі цидулу напишу до його!

Он пошел в другую комнату. Ганна дожидалась стоя, опустивши глаза в землю. Дорошенко вышел, отдал ей написанную цидулу и сказал полуголове:

— Кажіть одвести сю жону до Ларіона Іванова в Приказ. А тобі, молодице, на: от, скільки здолаю, стільки помагаю.

Он подал ей несколько серебряных монет, вынес из другого покоя черный шелковый платок и вручил ей, сказавши, что это ей на голову, чтоб не надевать более московской кики.

XV

Привели стрельцы Ганну Кусивну к думному дьяку Лариону Иванову, находившемуся тогда в Приказе. Это был сорокалетний плечистый мужчина с здоровым лицом, с красным от большого употребления

напитков носом и с маленькой красноватой бородкой. Прочитавши цидулу Дорошенка, он велел позвать Ганну.

— Мы с тобою, красавица,— сказал он ей,— видимся впервое, а, кажись, я тебя уже знаю. Уж не та ли ты, что писано было нам от гетмана по челобитной полковника Борковского и всех черниговских всяких чинов обывателей на царского воеводу Чоглокова, между иными его худыми делами, что он заслал какую-то жену чужую в свою вотчину и там ее повенчал и в другой раз с его человеком?

Ганна рассказала ему всю свою историю так же, как и Дорошенку.

— Кто тебя знает,— сказал думный дьяк,— какой у тебя муж законный, коли ты с двумя венчалась, и со вторым мужем от живого первого. Это уж не наше дело, а церковное. Я тебя отправлю в Патриарший приказ.

— Мене зґвалтовали, навік осоромотили! — с рыданием говорила Ганна.

Думный дьяк не совсем понял смысл слышанных слов, но уразумел, что идет жалоба на насилие, учиненное ей Чоглоковым, и сказал:

— Хорошо; мы его допросим. А ты, женка, явись сюда завтра!

— А де ж я буду? — сказала Ганна.— Я до його в двір не вернусь, лучче в річку кинусь!

— Побудешь здесь, в Приказе. Я велю тебя поместить,— сказал думный дьяк и велел отвести ее в нижний подклеть, где были покои, нарочно отводимые на случай для тех, которых нужно было задержать в Приказе на время.

На другое утро опять привели Ганну пред думного дьяка. Она увидала здесь своего злодея Чоглокова, побледнела и затряслась.

— Ну, Тимофей Васильевич,— говорил Чоглокову Ларион Иванов.— Вот женщина показывает на тебя! — При этом он изложил то, что слыхал от Ганны.— Что скажешь на это? Знаешь ты эту женку? — спрашивал он в заключение Чоглокова.

— Знаю,— сказал Чоглоков,— только не так было, как она показывает. Эта женка клеплет на меня безлепицу. Она первый раз пришла ко мне с моим человеком Ваською Чесноковым, и оба стали просить у меня позволения обвенчаться. Она была тогда в девичьем наряде. Я позволил, да и не было никакой причины им того не позволять. Мой холоп Васька Чесноков тогда отпросился от меня домой в нашу подмосковную вотчину, и я отпустил его; он поехал вместе с этой женкой и письмо от меня повез к священнику моей вотчины, и тот священник, видя их доброе обоюдное согласие, их обвенчал. А как меня из Чернигова с воеводства отозвали, я приехал в Москву и велел Ваську с женой привезти к себе во двор мне на службу, а не для срамного дела, как она лает. А вчерашнего утра эта женщина из моего двора сбежала, малую толику животов покрадючи, и теперь затеяла на меня такое, что честному, богобоязненному человеку и помыслить страшно.

— Мене повінчали, я не дівка була, а мужатая жона, вони мене по-злодіяцьку ухопили, і зґвалтовали, і за іншого силоміць повінчали, мужату жону! — вопила Ганна.

— Спроси ее, господин,— сказал Чоглоков.— Когда ее повенчали первый раз и где?

— У св[ятого] Спаса,— сказала Ганна.— У той саме день, як виступали козаки в поход.

— А какой тогда был день? — спрашивал Чоглоков.— Тогда был Петров пост. Скажи, господин думный дьяк: можно разве по закону православному венчать в Петров пост?

— Ну, лебедка, что скажешь? — обратился Ларион Иванов к Ганне.— Правду ли этот господин говорит? Был тогда Петров пост?

Ганна стала объяснять, что владыка разрешил венчание в пост. Но так как объяснения эти произносились по-малороссийски, то думный дьяк моргал бровями и пожимал плечами, бросая вопросительные взгляды на Чоглокова, и потом сказал Ганне:

— Невдомек что-то мне, что ты баешь, лебедка. Дело-то это не нашенское, а церковное. Ступай себе, я позову тебя, когда нужно будет.

Ганна поклонилась до земли и с рыданиями стала просить пощады и сострадания к своей горькой судьбе, но Ларион Иванов, вместо ответа, дал знак, и Ганну увели. Думный дьяк сказал Чоглокову, что он за ним после пришлет, а теперь у него иные спешные дела.

Через день Ларион Иванов опять призвал Чоглокова.

— У тебя, Тимофей Васильевич, где вотчина-то? На Пахре, кажись?

— На Пахре,— сказал Чоглоков.

А сколько четей земли, сенокосу, лесу и рабочих крестьян и дворовых людей? — спрашивал Ларион Иванов.

Чоглоков рассказал все, что у него спрашивали.

— А сколько скота, есть ли овцы, пчелы, при дворе сад, огород, гумно, сколько одоньев хлеба? — спрашивал думный дьяк.

Чоглоков и на это отвечал, прибавивши, что многого не упомнить, а у него есть на то опись всему.

— Хорошо,— сказал думный дьяк,— продай мне половину твоей вотчины по описи.

Чоглоков был словно громом оглушен таким предложением. Он замялся, говорил, сам не зная что, но смысл его слов был таков, что он продавать своей вотчины не желает.

— Ну, воля твоя! — сказал думный дьяк.— Ты на то хозяин и владелец. Я только тебе свое желание заявил: купил бы у тебя, когда бы ты захотел продать, а не хочешь — как знаешь! Я с своим назад.

Несколько минут молчали оба. Тимофею Васильевичу было очень неловко. Он понимал, чего хочет думный дьяк. Тимофея Васильевича бросало то в жар, то в холод от зловещего молчания Лариона Иванова.

— Ну, просим прощения! — сказал наконец Ларион Иванов, и Чоглоков в сильном волнении вышел от него.

Прошла неделя. Чоглоков находился в невыносимо тревожном состоянии. Недавно еще, тотчас по своем возвращении из Чернигова, отвалил он "в почесть" Лариону Иванову немалую толику наличными, да и подьячих Малороссийского приказа угобзил порядком, так что почти уже ничего у него не осталось из того, что успел он зашибить себе в Чернигове на воеводстве. Теперь видел он, что его хотят облупить, как липку. Дал намек Ларион Иванов да и замолчал, не зовет его больше. Хоть бы уж позвал да сказал, что с ним намерен сделать, если он половину своей вотчины не уступит!

И прошло еще несколько дней, мучительных для Тимофея Васильевича. Передумывал он и то, и другое, прикидывал и так и атак. Ничего не мог выдумать. Но вот, наконец, уже дней через десять после

первого предложения о продаже половины вотчины зовут его опять в Малороссийский приказ.

Стал лицом к лицу Тимофей Васильевич с Ларионом Ивановым.

Ларион Иванов, сидя за своими бумагами, сказал вошедшему к нему Тимофею Васильевичу:

— Ну что, господин бывший черниговский воевода: дела-то наши не хороши. Как-то выпутаемся мы от доноса, что прислал на твою милость черниговский полковник от всего Черниговского полка и от города Чернигова войта, и бургомистров, и райцев, и всего мещанства и поспольства? Как ты думаешь об этом, господин бывший воевода?

— Ларион Иванович, отец родной! — проговорил сквозь слезы Чоглоков.— Я ведь твоей милости бил челом и в почесть подал, что можно было. Тогда положили всему тому погреб.

— Э, нет, батюшка Тимофей Васильевич! — сказал Ларион Иванов.— Мы тебя только выписали из Чернигова, вместо того чтобы там, на месте, розыск чинить над тобою. Было бы для тебя не лучше, коли б мы, оставивши тебя в Чернигове, новому воеводе приказали над тобой разыскивать. Новому воеводе захотелось бы показать: вот-де какие дурные воеводы до него там были, а он не таков, и таких дел за ним не чаят худых! Тебя, голубчика, может быть, посадили бы там в тюрьму, а те черниговцы, как бы стали их допрашивать, навряд бы твою милость оправили. И теперь — вот хоть с этой бабенкой, что у нас тут сидит внизу. Видишь, черниговский полковник написал про какую-то там у них женку Белобочиху, будто она, при свидетелях полковых старшинах, говорила, что ты ее подговаривал привести к тебе Анну Кусовну для блудного дела. А потом эта самая Анна пропала безвестно и очутилась в твоей вотчине замужем за твоим человеком, и вот видишь, что на тебя показывает. Мы начнем розыск чинить о сем. Да и то еще: в челобитной черниговской пишется, твои-де стрельцы ходили по дворам мещанским

и казацким и подговаривали женок и девок тебе на блудное дело. И об этом пошлем в Чернигов розыскать, оттого что это сходится с делом об этой женке Анне. А что скажут по тому розыску — тебе лучше знать! Не дай Бог, да скажут что-нибудь недоброе,— тогда тебе, Тимофей Васильевич, будет, ух, как плохо! Великому государю наверх в докладе пойдет. Как бы твоей милости не пришлось ехать в дальние сибирские городы, да еще, может быть, и не воеводою, а поверстают в дети боярские либо еще пониже. Вон еще при боярине Матвееве, как нашим Приказом управлял, что сталось с Демкою Многогрешным. Тот был гетман, повыше тебя, воеводы. И дел за ним не бывало таких, как за тобою!

— Батюшка, Ларион Иванов, отец родной, кормилец! Власть твоя и воля твоя. Не погуби! Смилуйся! — завопил Чоглоков и повалился к ногам думного дьяка.

Ларион Иванов сказал:

— Встань, Тимофей Васильевич! Одному великому государю подобает кланяться в землю, а я ведь не великий государь твой, я только дьяк его царского величества.

Тимофей Васильевич встал и продолжал плакать; он совсем растерянный стоял перед думным дьяком. Ларион Иванов продолжал:

— Ты, батюшко Тимофей Васильевич, не глуп человек и ведаешь, как в свете ведется между людьми. Все мы, грешные, охочи творить добро наипаче тем, что нам его творят. На том, сударь, весь свет стоит и тем держится, что мы один другому тяготы носим, один другому угодное творим, и коли мы к людям хороши, так и люди к нам также хороши. Ты испугался розыска над собой и бьешь мне челом, чтобы я заступился за тебя; а я намедни, коли не забыл, бил челом твоей милости, чтоб ты изволил продать мне половину твоей Пахровской вотчины. Однако ты на мое челобитье не подался и меня не пожаловал.

Теперь же ты вот мне бьешь челом о своем деле. Что же, как думаешь? И мне поступить с тобою, как ты со мною поступил, не податься на твое челобитье?

— Батюшко, отец родной! Смилуйся! Ведь половина моего состояния родового, кровного! — вопил Чоглоков.

— На это я вот что тебе скажу, любезнейший мой Тимофей Васильич, — сказал думный дьяк.— Человек ты книжный и, конечно, читывал, как в Святом Писании говорится: лучше калекою войти в царствие божие, чем со всеми целыми удами быть ввержену в геенну огненную. И ты ныне поступи так, по сему премудрому словеси. Лучше тебе, мой дорогой, потерять половину своей вотчины и остаться жить в покое с другою ее половиною, чем, владеючи обеими половинами, быть загнатым туда, куда Макар телят не гоняет. Все равно не будешь тогда вол одеть своею вотчиною, достанется кому-нибудь другому из твоего рода, а то, может быть, еще и отпишут на великого государя. А коли начнется над тобой строгий, правдивый розыск, так тебе в те норы не сдобровать. Это я наперед вижу, да и ты сам, Тимофей Васильевич, лучше меня это видишь и знаешь.

— Бери, батюшка! — возопил Чоглоков и ударил себя о полы руками. — Бери, только выручи!

— Подай опись имуществу своему,— сказал думный дьяк.— Напиши купчую данную, запиши в Поместном приказе и ко мне доставь вместе с описью. Да не подумай, Тимофей Васильевич, меня в чем-нибудь провести. Смотри, чтобы в купчей данной была вписана в точности половина всего, что значится по описи. Я посмотрю, слицую, и коли объявится не все в точности, так и купчая не в купчую. Не приму.

— Да нельзя ли уж, коли так,— сказал Чоглоков,— воротить эту женку к ее мужу в мой двор, к моему человеку, да тем и дело покончить?

— А, жирно будет! — возразил Ларион Иванов.— Доволен будь и тем, Тимофей Васильевич, что сам цел останешься. Надобно дело решать так, чтобы и тебя спасти от гибели, и против правды не покривить. Мы вот как постановим. Что женка оная на воеводу показывала, того никакими доводы не довела, и черниговское челобитье, что на того же воеводу написано, ничем не доведено, а воевода в ответ сказал-де, что все то на него затеяно от черниговцев напрасно по злобе за то, что он, воевода, радея о царской выгоде, их, черниговцев, плутовству не потакал; и мы, великий государь, указали дальнейших розысков за неимением доводов над воеводою не чинить, а женку Анну, за двоемужество, отослать к духовному суду в Патриарший приказ. Вот оно и выйдет, как говорится: и козы целы, и волки сыты будут.

— А если,— заметил Чоглоков,— та женка в Патриаршем приказе учнет на меня показывать ту же безлепицу, что показывала здесь? Тогда меня в Патриарший приказ позовут!

— Мы,— сказал тогда думный дьяк,— здесь, в Малороссийском приказе, именем царским тебя оправим и от дела того Аннинога совсем отлучим. По наговорам той женки могут позвать в Патриарший, приказ не тебя, а человека того, что с нею венчался и стал ей мужем, потому что у них общее духовное дело. А ты заранее призови того человека своего и под страхом великим запрети ему, чтоб, когда его призовут в Патриарший приказ, тебя в дело не втягивал и ничего о тебе там говорить не дерзал, а отложил бы тебя вовсе. Ты же здесь у нас в расспросе своем напиши, что дозволил человеку своему венчаться с Анною, не знаючи никак, чтоб Анна была с кем иным обвенчана, понеже сама Анна тебе того не объявляла и ты считал ее девкою, тем паче, что она ходила по-девичьи. А хоть бы кто со стороны и говорил тебе, что она венчана в Петров пост, ты такой глупой речи не поверил, знаючи, что по закону нашему православному в пост венчать не мочно. Здесь у нас, в Малороссийском приказе, такую сказку напишешь и оставишь. И только.

Поклонился Чоглоков думному дьяку Лариону Иванову, еще раз назвал его кормильцем, спасителем, отцом родным. В тот же день написал он показание в таком смысле, как научил его думный дьяк, а через неделю принес Лариону Иванову купчую данную на половину своей Пахровской вотчины и опись всему своему имуществу, числящемуся при той вотчине. Ларион Иванов пересмотрел то и другое, проверил сходство купчей с описью и сказал:

— Спасибо тебе, кормилец, благодетель. Весною начну строиться в новой купленной вотчине. Будем с тобою жить по-приятельски, как добрым соседям подобает.

Все это время Ганна жила в подклете Малороссийского приказа, питаясь скудным поденным кормом, выдававшимся из царской казны тюремным сидельцам; она дополняла его недостаток тем, что просила сторожей покупать ей за те деньги, что дал ей Дорошенко. Несколько дней сидело вместе с нею двое бродяг малороссиян, взятых в Москве и отправленных на родину. Они были из другого малороссийского края, из Полтавского полка, и сидели в подклете Приказа недолго, к большому удовольствию Ганны, которой один из них стал было надоедать своими любезностями. Когда их вывели, Ганна осталась одна; ее позвали тогда в Приказ, дали ей еще три рубля мелкими копейками и сказали, что ей подает на милостыню Дорошенко, бывший по своим делам в Приказе и там осведомлявшийся о ней. Ганна, отведенная в свою тюрьму, горячо молилась за своего благодетеля, не забывавшего о ней и подавшего ей святую Христову милостыню.

После окончания сделки с Чоглоковым думный дьяк приказал привести пред свою особу Ганну и приказал подьячему прочитать ей приговор, гласивший, что так как жалоба женки Анны на воеводу Чоглокова никакими доводами не доказывается, то дело о сем в Малороссийском приказе прекращается, женка же Анна отсылается к святейшему патриарху для учинення над нею духовного суда за незаконное вступление в брачный союз.

Стрельцы повели Ганну в Патриарший приказ.

В доме у Чоглокова происходила такая сцена: Тимофей Васильевич призвал к себе холопей своих Ваську и Макарку и говорил им:

— Ну, братцы! Больно недобро мне с этой проклятой хохлушей. Оттягал у меня думный дьяк половину Пахровской вотчины. Что будешь делать? Загрозил злодей, что начнут обо мне вновь розыскивать. Я дал ему купчую данную. Да еще и тут делу не конец. Хохлушку велел отвести в Патриарший приказ к духовному суду,— там будут розыскивать о ее двоемужестве. И вас, может быть, позовут. Смотрите же, не примешивать меня никак. Ты, Васька, в одно упрись и говори: никакого-де приказу насчет женитьбы своей от своего государя не слыхал. Сам к нему, вместе с Анною, приходил просить позволения повенчаться, не знаючи того, чтоб она была с иным кем повенчана.

— Уж в том, государь, будь спокоен. Как прикажешь, так и буду говорить,— сказал Васька.

— И насчет того, коли станет она твердить, что господин ее изнасиловал и приказывал тебе водить к нему на постелю, говори одно: "Того я не знаю и от государя моего ничего такого не слыхал",— говорил Чоглоков.— Об этом в Патриаршем приказе розыскивать не будут, затем что по этому наговору меня уже в Малороссийском приказе оправили. И ты своими речами не подавай никакого повода. И ты гляди тоже, Макарка.

— Мое дело здесь второе,— сказал Макарка.— Коли Васька на меня не скажет, так меня, чай, и не покличут. А покличут и станут спрашивать, так я буду говорить в одно с Васькой.

— Оно,— сказал Чоглоков,— вашему брату, холопу, в наговорах на нас, ваших государей, веры не дают. Только все-таки вы меня никоими

делы не смейте бесчестить. А не то — сами знаете, властен я с вами обоими расправиться опосля, как захочу.

Когда Васька с Макаркой остались одни, Васька сказал своему товарищу:

— Государь-то струсил! Да еще как! Шутка ли: половину вотчины спустил. Плохо дело. Почитай, как припрут его, так и другую половину спустит. И нам тогда, видно, не ему служить в холопстве придется. Продаст и нас. Пускай, черт их побери, зовут нас в Патриарший приказ, пускай допрашивают. Будем стоять за своего государя, пока можно и пока сил наших станет, ну, а то ведь своя шкура всякой чужой шкуры дороже, хоть бы и государской!

XVI

Патриарх Иоаким Савелов в описываемое время был возрастом между шестьюдесятью и семьюдесятью годами, старик чрезвычайно живой и неутомимо деятельный. Это был человек ученый по своему времени; воспитывался он в Киевской коллегии и сохранял к ней большое уважение, но это не мешало ему быть резким и непримиримым противником западного влияния, проникавшего все духовное образование в Малороссии и, по мнению патриарха, вредно отзывавшегося на русскую церковь. Патриарх Иоаким писал очень много, писал и с двух сторон защищал вверенную ему церковь: и против западного влияния, входившего через Киев, и против старообрядческого раскола, развивавшегося в Великой Руси. При всех, однако, своих ученых и литературных занятиях Иоаким не только не покидал дел внутреннего управления, но занимался ими лично и так устойчиво, как никто из его предшественников, не исключая и самого Никона. Никто из патриархов не ограничил до такой степени произвол архиерейской власти обязательным учреждением при архиереях советов из призываемых к соуправлению и суду духовных лиц; это касалось зауряд с другими епархиями и патриаршей епархии, но патриарх на это не посмотрел: сам он был до того деятелен и

внимателен ко всему, что мало нуждался в содействии и совете духовных особ. В Патриаршем приказе сидели назначенные от патриарха архимандрит и двое протопопов, призывались выборные духовные власти — поповские старосты, но все они, собственно, делали мало за патриарха,— напротив, патриарх много делал за них. Еще по предмету суда над духовенством эти соуправители патриарха, по крайней мере, все-таки что-нибудь да значили: снимали допросы и показания, наводили справки, постановляли приговоры; патриарх сам проверял все их предварительные работы и сам произносил окончательное решение. В таких же делах, где не духовные, а мирские люди привлекались к духовному суду, сидевшие в Патриаршем приказе ни до чего почти не касались, делал все дьяк и подносил патриарху. Главным дьяком Патриаршего приказа был тогда Иван Родионович Калитин, притоптавшийся пожилой господин лет под пятьдесят, с круглой, несколько поседевшей бородкой, бойко владевший и пером и речью, большой делец. Патриарх оказывал ему чрезвычайное доверие, считал столько же умным, сколько честным, бескорыстным и преданным себе человеком. Репутация умного человека была за дьяком повсеместна; насчет его честности и бескорыстия никто не мог бы указать, что вот с того-то или с этого Калитин "вымучил" что-нибудь; но многие в недоумении пожимали плечами, узнавая, что от некоторых дел перепадали патриаршему дьяку немалые выгоды, и нельзя было объяснить, как это он устраивал.

Когда привели в Патриарший приказ Ганну Кусивну, Калитин, недавно в этот день явившийся в Приказ для исполнения своей должности, сидел с товарищем своим, другим дьяком Леонтием Саввичем Скворцовым, которого Калитин любил и покровительствовал. Прежде чем позвать к себе на глаза приведенную в приказ женщину, Калитин прочитал отписку, при которой ее препроводили из Малороссийского приказа; в этой отписке изложена была вся суть дела, касавшаяся и Чоглокова.

— Смотри-ко, Левонтий Саввич,— сказал Калитин Скворцову,— какую украинскую птицу прислали к нам. Только ощипали, да не ее, а, видно, из-за нее кого-то другого!

Скворцов, еще не так опытный в дьяческом деле, не смекнул сразу всего, что раскусил Иван Родионович; проглядевши бумагу, Скворцов поднял к товарищу голову с вопросительным выражением в лице. Калитин засмеялся.

— Разумен зело думный! — сказал Калитин.— Остриг барана, а шкуру еще нам оставил. Что ж, и за то спасибо!

— Вестимо,— сказал Скворцов,— нагрел руки около воеводы и закрыл его ловко! Все шито-крыто, хоть кое-где белые ниточки виднеются. Но нам ни с какого боку за него приняться не мочно. Во всем очищен явился, духовную разве кару наложить, да и то не на него.

— Оставили,— сказал Калитин,— оставили нам тоненькую ниточку; за нее бережливо еще можно ухватиться. Вглядись в бумагу! Баба, видишь, повенчана вдругоряд с холопом воеводским; сам воевода очищен и его звать сюда никак не смеем, но холопа того на розыск потянем. А холоп, думаешь, так и будет стоять за своего государя? Как же! Не больно-то крепко станет держаться за него, когда над самим собою почует грозу.

— Ведь подчас,— сказал Скворцов,— можно воеводу того, если нужно будет, попугать святейшим, что вот, мол, внесет сам святейший его дело наверх, к царю государю, чтоб розыском перевершить.

— И так можно. Правда,— сказал Калитин.— А то вот посмотри, пригодится нам 54 статья уложения о холопьем суде.

Калитин приказал позвать Ганну.

— Молодушка! — сказал он ей.— Ты разом за двумя мужьями очутилась. От живого мужа с другим повенчалась!

— Повінчали силоміць! — начала было Ганна.

— Так,— перебил ее Калитин,— насильно? Так? Ты объявила это в своей сказке, что от тебя взяли в Малороссийском приказе. Стоишь ты на том, что не хотела выходить за другого, а тебя насильно повенчали?

— Насильно,— сказала Ганна.

— И не хочешь жить со вторым своим мужем, холопом Чоглокова?

— Не хотіла і не хочу! — сказала Ганна.

— И хочешь вернуться к первому своему мужу?

— Хочу. Я його одного за мужа собі почитаю.

— Придется тебе, молодушка,— сказал дьяк,— пожить у нас в Москве. Есть ли у тебя какое пристанище и будет ли у тебя что есть и пить? Есть у тебя, может быть, на Москве родные или знакомые добрые люди?

— Нікого немає,— отвечала Ганна.

— Так уж коли у тебя нет никого знакомого здесь, так не хочешь ли — возьму я тебя к себе во двор на услугу. Ты, молодка, не бойся,— не подумай чего-нибудь нехорошего. Я человек семейный, у меня жена, дети, худого умысла не чай. Поживешь у меня, пока твое дело завершится. Вот, посиди там в сторожке, а как станем расходиться, так я тебя с собой возьму, и ты пойдешь ко мне во двор.

Ганну увели. Вошли в Приказ сидевшие там архимандрит и протопоп. Калитин подал им несколько бумаг, рассказывая вкоротке их содержание. В числе таких бумаг была и отписка о Ганне. Духовные не обратили на нее особого внимания.

После полудня стали расходиться, и дьяк Калитин велел кликнуть Ганну и сказал ей:

— Забери с собой свое имущество и отправляйся со мною.

— У мене нічого немає,— сказала, заплакавши, Ганна.— Я утекла в чім стояла. І сорочку одну третій тиждень ношу.

— Крещеные, кажись, люди,— сказал Калитин.— И своему брату о Христе Иисусе, крещеному человеку, во всякое время и во всяк час Христа ради подать можем!

Калитин уехал в свой дом, находившийся в Белом городе, тотчас за Неглинною. Он повез с собою Ганну и, приехавши домой, передал ее своей жене, пожилой госпоже, лет за сорок; он поручал ей приставить к какому-нибудь занятию во дворе привезенную женщину, объяснивши, что это несчастная бесприютная сирота, должна пробыть несколько времени в Москве, и если дать ей приют, то это будет доброе, богоугодное дело. Калитина с ласковым видом стала было с нею заговаривать, но сразу наткнулась на несколько непонятных малороссийских выражений и обратилась с вопросительным лицом к мужу.

— Хохлачка! — сказал Калитин.— У них в речах есть разница с нашенскою речью московскою, а во всем прочем народ добрый, душевный и веры одной с нами.

Калитина отправила Ганну в дворовую баню, подарила ей чистое, хотя не совсем новое, и целое белье и приставила её ходить за коровами.

На третий день после водворения Ганны на новоселье неделыцик потребовал в Патриарший приказ к ответу холопей Чоглокова Ваську и Макарку. Господин еще раз повторил им прежнее наставление — отнюдь не вмешивать его в дело. Васька перекрестился и побожился, что не выронит слова такого, чтоб сталось в ущерб своему государю.

Холопей привели в Патриарший приказ в то время, когда заседавшие там духовные были в сборе. Васька и Макарка поклонились, касаясь пальцами пола, и стояли, ожидая вопросов. Калитин подошел под благословение к архимандриту.

— Начинай, Господи благослови! — произнес архимандрит.

Калитин отошел и, обращаясь к холопям, говорил важным и суровым голосом:

— Наш Приказ святейшего патриарха во многом совсем не то, что другие Приказы. Во многих Приказах по многим мирским делам холопьим сказкам верить не указано и спрашивать холопа непристойно, потому что холоп — невольный человек, и чести на нем нет, и бесчестья за него не положено ему, а у нас насчет этого не так, здесь ведаются дела духовные, а не мирские.

— А о духовных вещах,— сказал архимандрит,— говорится в св[ятом] писании: несть скиф, ни эллин, ни раб, ни свобод. В церкви Христовой рабу бывает такая же честь, как не рабу. Раб, как и его государь, одним крещением крещен, одним миром помазан, одно тело и кровь Господню приемлет, и на рабов такой же брачный венец, как и на господ возлагают. Того ради здесь и сказка раба приемлется, как и сказка свободного человека. Принесите перед крестом и Евангелием

присягу, что будете говорить сущую правду, как перед самим Богом на страшном и нелицеприятном его судище, аще же станете лгать и скрывать истину и затевать, то подвергнетесь каре от Бога в будущем веке, а здесь в житии своем от святой нашей церкви проклятию и градскому суду на жестокие мучения преданы будете.

— Слышите? — спрашивал грозным тоном Калитин.— Слушайте и мимо ушей не пропускайте.

Встал с своего места протопоп, взял лежавшую перед ним на столе свернутую епитрахиль, вынул из нее крест и Евангелие и положил на аналое, стоявшем впереди стола, за которым сидели духовные лица. Протопоп надел епитрахиль. Оба холопа, поднявши два пальца правой руки вверх, проговорили вслед за священником слова присяги, потом поцеловали крест и Евангелие. Протопоп завернул священные вещи в епитрахиль и сел на свое место.

Дьяк, обратясь к холопам, сказал:

— Кто из вас двоих Василий, кто стал мужем Анны Кусовны, показывающей себя женою казака Молявки?

— Я,— отвечал Васька.

— Я,— говорил дьяк,— стану тебя спрашивать не того ради, чтоб уведать от тебя про такое, чего я еще не знаю. Буду я тебя спрашивать про то, что я уже без тебя знаю, а спрашивать об этом стану я только для того, чтоб знать: правду или неправду будешь ты говорить. И коли ты станешь плутать и лгать, то я тотчас прикажу тебя вести в застенок и позвать заплечного мастера, и велю ему тебя сперва батогами, а там, смотря по твоему запирательству, и кнутьем покропить. Если ж правду будешь говорить, то ничего не бойся. Ты человек подневольный, и что бы господин твой тебе ни приказал, ты должен был то чинить, и хоть бы ты что неправое учинил по государя своего приказу, в ответе за то

будешь не ты, а государь твой. Отвечай сущую правду... А ты, Ермолай, — прибавил он, обратившись к подьячему, сидевшему за столиком у окна,— будешь записывать их речи... Спрашиваю,— сказал он, возвышая голос.— Коли ты выходил сюда, призывал тебя государь твой и велел тебе говорить в Приказе, что он, твой государь, тебе брать за жену Анну Кусовну не неволил, а будто ты, Васька, с нею, Анною, вместе приходили к твоему господину и просили позволить вам между собой повенчаться? Так было? Говори: это тебе первый вопрос.

Васька, ошеломленный, глянул на Макарку, как будто хотел ему глазами сделать вопрос: "Кто ж это ему перенес? Ты разве? Кроме тебя и меня, этих слов никто не слыхал". Но тут же собразил, что Макарка вместе с ним в одно время вышел со двора. В совершенном недоумении он выпучил глаза на дьяка. Калитии глядел на него с насмешливым выражением, не дождавшись скорого ответа, повторил свой вопрос и прибавил:

— Сам видишь, уже я все знаю, что у вас делалось и говорилось, хоть и не был у вас. Значит, лгать и выдумывать бесполезно. Говори истину. Так было?

— Да, так было,— произнес Васька.

— Хорошо, что правду сказал,— говорил Калитин.— Теперь стану я тебе говорить, что ты прежде делал и что с тобою делалось. А ты, смекаючи, что я уже все знаю, только говори, что именно так было, как я тебе сказал.

И он начал спрашивать, соображаясь с показанием Ганны, которого смысл был означен в отписке из Малороссийского приказа, припомнил, как в Чернигове они, Васька с Макаркою, ухватили Ганну в тайнике и притащили к своему государю на воеводский двор.

— Так ли было? Говори сущую правду! — спросил он.

— Так было,— отвечал Васька.

— Еще хвалю за то, что говоришь правду,— сказал дьяк.— Ты человек подневольный, и в том, что ты чинил по приказу господина, вины никакой нет. И св[ятое] писание говорит: "Несть раб болей господина своего". Пиши, Ермолай, его речи. Слыхал, что он учинил по господскому приказу? Пиши!

— Слыхал,— отвечал Ермолай и принялся писать.

Давши время Ермолаю записать, Калитин продолжал:

— Государь твой велел тебе вместе с Макаркою и со стрельцами двумя везти Анну в свою подмосковную вотчину на Пахре, и там священник, творя волю господина вашего, тебя с Анною повенчал сильно, хоть Анна и кричала, что не хочет и что она уже с другим повенчана. А священник на то не смотрел. И ты, по указу своего государя, Анне в те поры грозил жестоким боем и муками, чтоб не кричала. Так было?

— Так было,— отвечал Васька.

Калитин продолжал:

— Когда же государя вашего взяли с воеводства из Чернигова, и он, государь ваш, приехавши на Москву, приказал тебе, Ваське, с Макаркою ту Анну привезти к нему во двор на Арбате, и вы то учинили по господскому приказанию. Так ли было?

— Так,— произнес Васька.

— Пиши, Ермолай,— сказал Калитин и потом продолжал свой допрос: — И как вы приехали на Москву, ваш господин приказал тебе, Ваське, глядеть за своею женою Анною и приводить к нему, господину

твоему, на постель для блудного дела в те поры, как он тебе то прикажет. И ты ее один раз к нему приводил. Так было? Говори!

Васька остановился, замялся,— понял он, что настает решительная минута, приходится сказать на господина такое, чем ему, конечно, согрубить. Калитин сказал:

— Я знаю, зачем ты стал. Вот этого-то именно паче всего не велел тебе господин объявлять, но сам видишь: я уже без тебя все это знаю, стало быть, ни запирательством, ни лганьем ты своему государю никакой корысти не учинишь, а только себе самому причинишь скорбь немалую. Кнут — сам знаешь — не ангел: души не выймет, а правду вытянет из тебя. Лучше скажи всю правду, не подставляючи спины своей под кнут.

— А моему государю что за то будет? — спросил Васька.

Дьяк засмеялся.

— Хочешь много знать, умен чересчур станешь,— сказал он.— Что будет?! Нешто мы твоего государя здесь судим? Государь твой уж был судим там, где ведом был, в Малороссийском приказе, и оправлен. В наш Патриарший приказ отдана женка Анна для духовного суда, и мы тебя допрашиваем затем, чтоб знать — чья она жена: твоя ли или другого; и кому ее следует отдать: тебе или тому казаку Молявке; и виновата ли она в том, что от живого мужа ее с другим повенчали? Вот о чем тут дело у святейшего патриарха, и до твоего государя дела нам нет никоторого.

— Так было, как изволишь говорить,— произнес Васька.

— То есть,— продолжал Калитин,— господин твой затем тебя женил, чтобы ты ему свою жену приводил на постелю? Так ли?

— Так, сказал Васька.

— Запиши, Ермолай! — сказал Калитин и, обратившись снова к допрашиваемым, говорил: — Далее вас спрашивать нечего. На другой день, когда ты, Васька, приводил Анну к своему господину, она убегла со двора, и вы уже ее более не видали. С тебя, Васька, расспрос кончен. Хорошо, что ни в чем не запирался, не отлыгался. С тебя, Макарка, расспрос недолгий будет. Ты вместе с Ваською схватил насильно Анну в тайнике, вместе с Ваською возил ее из Чернигова в Пахринскую вотчину и при венчании был и йотом, по государскому приказу, вместе с Ваською привез ее в Москву.

— Так было,— сказал Макарка.

— И государь при тебе велел Ваське приводить ее к нему на постелю для блудного дела? — спрашивал дьяк.

— Я того не знаю,— сказал Макарка.— Мне такого приказа не бывало.

— Не тебе, а Ваське был такой приказ, только при тебе дан. Ты вместе с Ваською то слышал. И в том тебе вины никакой нет. Не запирайся, а то что тебе не за себя, а за другого муку терпеть, коли он, этот другой, уже сам повинился во всем?

— Помилуйте! — произнес испуганный Макарка.— Васька правду сказал про себя, и я говорю то же, что Васька.

— Запиши, Ермолай,— сказал дьяк и, снова обратившись к Ваське, произнес: — В конце всего ты объяви: желаешь ли ты оставлять Анну у себя женою или согласен, чтоб ее отправили к ее первому муже?

— Не желаю,— произнес решительно Васька.— Насильно меня государь мой женил, а не по своему хотенью я на ней женился. Не надобна она мне! Пусть себе идет, куда хочет.

— Пиши, Ермолай! — сказал дьяк.— Вот это и все, что нам нужно было!

Васька упал к ногам дьяка. За ним то же сделал Макарка.

— Батюшки, кормильцы! — говорил с плачем Васька.— Воззрите милосердым оком на нас, бедных рабов, людей подневольных. Наговорили мы на государя своего, хоть и правду сущую говорили, только мы останемся в его воле, и он нас задерет теперь. Укройте, защитите нас, голубчики, отцы родные!

— Что ты боишься своего государя, то чинишь ты хорошо,— сказал дьяк.— Раб должен бояться своего господина и слушать его во всем. Только над твоим государем есть еще повыше государь. Знаешь ты это?

— Вестимо так! — сказал Васька.— Я знаю, что над всеми господами нашими государями есть выше всех господин, батюшка-царь великий государь, и властен он над нашими государями так же, как властны они, государи наши, над нами, бедными сиротами. Только сам изволишь ведать, твоя милость, люди говорят: до Бога высоко, а до царя далеко, а государь наш к нам ближе всего. К царю-батюшке нашему холопьему рылу приступить не можно, о том и думать нам непристойно, а свой государь как захочет, так с нас шкуру снимет. Нельзя ли, батюшки-кормильцы, уговорить нашего государя, чтоб нас не мучил, а до того часа, как изволите ему о том сказать, не отпускайте нас к нему, подержите где-нибудь инде.

— А, вот что! — сказал дьяк.— Добре! Можно! Вы останетесь для розыска при нашем Приказе, пока мы переговорим с вашим государем. Тем временем поживите у нас на дворах, поработайте, а мы вам за то

корм давать будем. Левонтий Саввич! — сказал он, обратясь к Скворцову.— Ты возьми к себе в двор Ваську, а я возьму Макарку. У меня теперь во дворе Анна, так видеться ей с Васькой не пригоже.

Так порешили дьяки и разобрали себе холопей. Архимандрит, слушая весь допрос, при окончании его произнес только:

— Изрядно хорошо! Боже благослови!

Прошло после того недели две. Калитин умышленно тянул время, находя необходимым порядочно протомить Чоглокова страхом неизвестности. И он не ошибся в расчете. Чоглоков, не увидевши возвратившихся из Приказа своих холопей, стал беспокоиться, и беспокойство его возрастало с каждым проходившим днем. Сердце его чуяло, что задержка его холопей — не даром, что над ним самим собирается какая-то новая туча; как все подобные ему люди, он был трусливого десятка человек, а ожидание чего-то дурного, но не известного, тревожило его больше самого удара. Наконец явился к нему неделыцик и потребовал в Патриарший приказ.

Были в Приказе все в сборе, и духовные сановники, и дьяки, и подьячие — все на своих местах. Ермолай с чернильницей и бумагами сидел у окна при своем столике.

Ввели Чоглокова.

Не успел Чоглоков отвесить обычные поклоны, как Калитин встает с своего места, подходит под благословение к архимандриту, потом подступает к Чоглокову и, двигая пальцами правой руки, говорит ему:

— Тимофей Васильевич Чоглоков! Как тебе не стыдно, как тебе не совестно такие дела творить! Бога ты, видно, не боишься, людей добрых не стыдишься! Вас, царских служилых господ дворян, посылает великий государь за правдой наблюдать, чтоб нигде сильные слабым, а

богатые бедным обид не чинили, вам царским именем надлежит сирот оборонять, а ты, греховодник, пустился на такие беззакония, что и говорить срам! Да еще где! У чужих людей, в малороссийских городах! Как после этого черкасские люди могут быть царскому величеству верны и Московской державе крепки, когда к ним будут посылаться начальными людьми такие озорники, бесчинники, блудники, насильники, как твоя милость! Скажут черкасские люди: мы ради обороны единые восточные католические веры отдались сами доброю волею под державу великого государя, а к нам присылают из Москвы таких, что с нами горее ляха и бусурмана поступают. Ты, видно, о Боге не помышляешь, и суда его страшного не страшишься, и царского гнева над собою не чаешь; на свои, знать, достатки уповаешь, что нажил неправедным способом. Знай же! Сыщется на тебя управа; отольются волку овечьи слезки!

Чоглоков никак не ожидал такой встречи и несколько минут не мог поворотить языка, чтоб ответить; он только в смущении бросал по сторонам тревожные взгляды, как будто высматривая, за что бы ему ухватиться, укрываясь от такого неожиданного наступления. Калитин, остановившись на миг, стал снова вычитывать ему упреки в том же тоне, примешивая к ним угрозы. Наконец Чоглоков, собравшись с духом, решился заступиться за свою оскорбленную честь и произнес:

— Господин честный дьяк Иван Родионович! Я не подведом твоей милости и не знаю, с чего ты это вздумал позвать меня сюда и задавать мне бесчестные речи. Вместо разговора с тобою, я подам великому государю на тебя челобитную в бесчестьи.

— Ты подашь на меня челобитную! — воскликнул дьяк; потом, обратившись к духовным сановникам, говорил:— Извольте прислушать, отцы честнейшие! И ты, Левонтий Саввич, тоже. Он еще хочет подавать на нас челобитье в бесчестьи! Молод ты разумом, хоть летами, кажись, и подошел. Не понимаешь разве того, что коли тебя позвали в Патриарший приказ, так с тобой говорит там не дьяк, а сам святейший патриарх через своего дьяка!

— Так вот я и докладываю святейшему патриарху,— сказал Чоглоков.— Прежде надобно сказать, за что я стал достоин, чтоб меня лаять, а не лаять ни за что ни про что!

— А,— воскликнул с злым смехом Калитин,— ты прикидываешься тихоней. Постой же, коли так: покажу я тебе сейчас, за что ты достоин, чтоб тебя лаять.

Он подошел к двери, отворил ее и, давши кому-то знак рукою, отступил, а в дверь вошла Ганна.

— Что это за женка? Знаешь ты ее? — спрашивал Калитин Чоглокова.

— Я ее знаю,— отвечал Чоглоков.— Это жена моего холопа Васьки.

— Насильно, в попрание всякого закона божеского и человеческого, стала она женою его по твоему разбойничьему умыслу. Она — жена черниговского казака Молявки. Ты это знал, ты был на ее венчаньи, и приглянулась женская красота ее твоему скотскому плотоугодию, и учинил ты силою над нею срамное дело, потом приказал повенчать ее, мужнюю жену, с своим холопом, затем чтобы к себе на постелю водить. Вот кто такая эта женка. Срамник ты негодный, человек имени христианского недостойный!

— Это неправда! — сказал Чоглоков.— Эта женка сама своею охотою пошла замуж за моего человека. А в Москву я выписал ее с мужем совсем не для какого-то срамного дела, а для услуги себе! Вы же звали того холопа, что с ней венчан. Спросите его при мне.

— Холоп, как холоп! — сказал Калитин.— Холоп и при государе своем холоп и без него холоп! Отвечаешь ли во всем за своего холопа?

— Отвечаю,— сказал Чоглоков,— что он вместе с этой вот женкой приходили ко мне и просили дозволения повенчаться!

— Ніколи сього не було! — произнесла Ганна.

Калитин продолжал:

— А ответчик ли ты за своего холопа во всем другом? И в том, чего сам не знаешь,— ответчик ты за своего холопа? Если по розыску и по суду уличится в чем твой холоп виноватым, ответчик ли ты за своего холопа?

— Нет,— сказал Чоглоков.— Пусть за себя сам отвечает, коли в чем винен.

— И ты в том не ответчик за своего холопа?

— Не ответчик,— сказал Чоглоков.

— Пиши, Ермолай,— сказал дьяк подьячему, потом снова обратился к Чоглокову:— Ну, так видишь ли, холоп твой Васька показал то же, что эта женка. Никогда они вдвоем не просили тебя, а велел ты своим людям насильно схватить ее и повенчать затем, чтоб женку пускали к тебе для блудного дела.

— Если холоп мой такое говорит,— он лжет! Холопу верить не мочно, когда он такую безлепицу на своего государя сказывает,— произнес, вспыхнувши, Чоглоков.

— Потише, не брыкайся! — сказал ему Калитин.— Мочно ему верить! У нас суд духовный, а не мирской; здесь и холопа свидетельство приемлется, потому что и холоп такой же сын церкви. Да, впрочем, и в мирском деле верить холопу мочно, коли ты уже объявил, что за своего

холопа не ответчик. Левонтий Саввич! Прочти ему 54 статью Уложения о холопьем суде.

Скворцов прочитал:

— "Будет ответчик скажет, что холоп сам за себя отвечает, и против истцовой исковой челобитной велети холопу отвечати и с суда прав ли или виноват будет верити холопу, что ни станет в суде говорити".

— Это сюда не идет! — воскликнул Чоглоков.— Это говорится о холопьем суде; вот если бы суд происходил в Холопьем приказе...

— Ти, ти, ти! законник какой выискался! — прервал Калитин.— Да здесь, говорят тебе, духовный суд, где речи холопьи и без того приемлются.

— Так и судите себе свои духовные дела! — сказал раздраженным голосом Чоглоков.— С чего же это вы меня-то сюда притащили да стали в уголовщине обвинять? Изнасилование — дело уголовное, а не духовное.

— Врешь,— сказал Калитин.— Изнасилование — блудное дело, а блуд всякий карается духовною карою.

— Про блудное сожитие довести надобно,— сказал Чоглоков,— а вы на меня не доведете.

— Уже доведено! — сказал дьяк.

— Нет, не доведено! — смелым тоном говорил Чоглоков: — И довести невозможно, и не ваше то дело есть. По доносу этой самой черниговской женки и по другим таким же лживым доносам от черниговских жителей розыскивалось уже обо мне в том Приказе, к которому я по службе своей тянул. И дело было порешено, и я оправлен.

Духовного дела за мной никоторого нет. То дело, что у вас ведется об этой женке, что она объявляется с двумя мужьями повенчана, то дело до меня отнюдь не належит. С чего вы это на меня насели? Вот уж подлинно, как говорится: с больной головы да на здоровую!

— А ты знаешь,— сказал архимандрит.— Святейший патриарх есть верный и неусыпный печальник перед царем от всех утесненных и обидимых, вот таких, как сия женка! Тебя, говоришь, оправили в Приказе, но во всех Приказах сидят люди, не ангелы, а подобострастнии человецы. Они, по человеческому недомыслию, ошибиться могут и неправое признать правым. Над всеми Приказами один глава есть — царь. А к царю наверх святейшему патриарху вход всегда чист и открыт.

— И царю великому государю и святейшему патриарху говорю я одно: не виноват я,— все на меня затеяно! — говорил Чоглоков.

Дьяк Калитин, указывая на Ганну, говорил Чоглокову:

— Вот эта самая женка может говорить с великим государем и сама своими усты расскажет ему про все. Ты скажешь: куда ей до царя-батюшки — далеко и высоко! Она точно; как-таки можно, кажись, чтоб такой простой бабенке да до великого государя царя всея России доступить! Ну, а вот же святейший патриарх так силен, что может дать ей доступ туда, куда бы ей и во сне не приснилось добраться. С нею-то будет! Объявляю тебе о сем именем великого государя святейшего патриарха: если добровольно не принесешь повинной, как перед самим Богом, и не подашь челобитной, в ней же подобает тебе выписать свои вины и с сокрушением сердца просить прощения, а станешь твердить, что ты оправлен и каяться тебе не в чем, за такую гордыню постигнет тебя великая досада и кручина. Изволит святейший патриарх войти о сем деле к великому государю печальником за эту бедную женку, а там, если царю угодно станет,— эту женку введут наверх, и она расскажет все великому государю. Смотри, чтоб тебе после очень худо не было. Говорят тебе воистину: с святейшим патриархом не дерзай тягаться.

Обдумай, потом приходи к нам и подай челобитную. Быть может, великий государь святейший патриарх смилуется над тобою, видя твое сердечное раскаяние, и назначит тебе духовное покаяние да тем и кончится, и он тогда не изволит уже печаловаться об этой женке. Вот тебе сроку от святейшего патриарха дается одна педеля. Чтоб в это время ты порешил все.

Чоглоком не мог уже более ничего говорить. Он увидал себя вдруг м таком особенном положении, в каком никогда и не воображал, чтоб мог очутиться. Бледен, как мертвец, стоял он, словно выслушал смертный приговор.

Калитин обратился к Ганне и говорил:

— Бедная женка-чужеземка! Сирота беспомощная! Не унывай душою. Есть еще верховное правосудие у царя, у батюшки-света! Что Бог на небе, то царь на земле. Божий он помазанник, божий наместник! Всякая земная гордыня и неправда смирится перед ним.

Ганна не уразумела всего смысла речи Калитина, но чувствительный тон, с которым он говорил, произвел на нее такое впечатление, что она зарыдала.

Чоглоков поклонился до земли и вышел в ужасном смущении.

Калитин велел идти Ганне во двор.

Когда все разошлись из Приказа, Калитин остался с Скворцовым, и Скворцов сказал:

— Я узнал наверное: Ларион Иванов таки оттянул у этого живодера половину его вотчины на Пахре, по купчей данной.

— И я об этом уже знаю,— отвечал Калитин.— Осталась другая половина да еще двор в Москве! Мы поделимся с тобою, как поп делится с причтом. Мне две трети, треть тебе. А живодер останется нищ и убог. Поделом своим заслугу приимет!

Несчастный Тимофей Васильевич чувствовал себя в крайнем, безвыходном положении. Прежде хоть он потерял половину Пахровской вотчины, так все-таки у него оставалась другая половина. Теперь он был уверен, что если, Боже сохрани, патриарх станет печаловать пред царем о черниговской женке, то произведут по царскому особому повелению такой розыск над ним, что десять Пахровских вотчин его не вывезут из погибели. "И зачем, я, дурак, отдал половину своей вотчины Лариону Иванову? — стал думать он. Но вслед за тем рассудил так: — Нет, все равно,— не отдал бы, так в Малороссийском приказе меня бы все равно утопили! Однако он, Ларион Иванов, взял с меня половину вотчины за то, чтобы от беды меня охранить. А беда все-таки настигает меня. Пойду к нему за советом. Уж коли обобрал меня, так пусть совет даст, как последней беды избыть". Он пошел в Малороссийский приказ к Лариону Иванову.

В первый раз не приняли его. Подьячий объявил ему, что думный дьяк занят важными делами и не может тратить время на разговоры с такими, которых он не звал к себе по делам. Чоглоков пришел на другой день. Ему сообщили то же, что и вчера, но после того, как он дал подьячему некий поминок, был допущен к думному дьяку и притом очутился с ним наедине.

— Что нужно? — спрашивал сухо думный дьяк и пристально всматривался в посетителя, как будто не видал его никогда.

— Батюшка, отец родной! — возопил Чоглоков.— За советом благим к тебе я пришел. Спаси, как знаешь; я тебе ведь половину своей родовой вотчины отдал за то, чтобы из беды спастись. А вот на меня опять беда наваливается.

— Ты, кажется, Чоглоков,— говорил прежним сухим тоном думный дьяк,— я у тебя вотчину купил на Пахре и заплатил тебе чистыми деньгами, и ты мне купчую данную выдал. Что ж? Разве что по вотчине этой?

— Ты, батюшка-кормилец, хорошо знаешь, как и чем заплатил ты мне за вотчину,— отвечал Чоглоков.— Спасти меня взялся от беды по доносу, что был на меня. За то и вотчину от меня взял.

— Не помню, не слыхивал, ничего не знаю! — говорил Ларион Иванов.— За такие дела никогда ни с кого не бирывал. В купчей данной значится, что я тебе чистыми деньгами заплатил.

— Да, точно,— сказал Чоглоков, смекнувший, в чем дело, и по опыту знавший, что не следует называть взяток их настоящим именем, а надобно притвориться, что то была покупка, а не взятка. Сам, будучи воеводою, так же делывал.— Да, да,— продолжал он.— Продана твоей милости за чистые денежки, только ты, отец-кормилец, в те поры утешал меня тем, что по делу об этой черниговской женке Анне мне уже ничего не будет, остается-де одно духовное дело о ее браке, так одно дело то пойдет в Патриарший приказ, а мое здесь уже покончилось. Я так и думал; ан вон же не то выходит!

И он рассказал ему обо всем, что было с ним в Патриаршем приказе.

— Того ждать можно было,— сказал думный дьяк.— Им тоже есть хочется, как и нам с тобою. От меня же чего ты хочешь?

— Совета, отеческого совета, благодетель мой,— говорил Чоглоков.— Как тут мне поступить, куда повернуться? Надеючись на слово твоей милости, я думал, что уже все покончилось и меня больше тягать не будут!

— Оно, точно, здесь и кончилось,— сказал дьяк.— За скудостию доводов в доносах на тебя не велено нять веры тем доносам, а чтобы женку ту не отсылать к духовному суду, того не говорилось, и тебе не обещалось. Женка разом за двумя мужьями: не нам было то розыскивать, а святейшему патриарху. А мы святейшему патриарху не указ. Того, как тебе говорили, что патриарх обещает о той женке входить наверх к государю, я не знал и заранее думать о том не мог. Его, святейшего, воля. А правда, патриарх властен во всякое время доступить к царю и печаловать пред ним о всех угнетенных и обидимых.

— Что же, какой совет мне подашь, отец-милостивец? — сказал Чоглоков.

— Сойтись как-нибудь с дьяком Калитиным, хотя бы пришлось тебе ударить челом другою половиною твоей вотчины,— сказал, засмеявшись, Ларион Иванов.

— А мне-то после того по миру ходить? — болезненно спросил Чоглоков.

— В Москве скорее подадут милостыню, чем где-нибудь в Сибири,— сказал дьяк.— Если святейший патриарх станет против тебя перед самим царем, то гляди, чтоб тебе спины не накропили да потом в Сибирь в заточение не послали. Да еще, почитай, так, что ни в стрельцы, ни в казаки, ни в пахотные не поверстают, а в тюрьму вкинуть велят! Как подумаешь о том, что может статься с тобою, так и выйдет: не весело по Москве ходить, милостыни выпрашивать, а еще скучнее в Сибири где-нибудь в тюрьме заживо гнить. На Москве, может быть, Бог пошлет тебе какого-нибудь доброго боярина, и тот возьмет тебя к себе, а там — потихоньку-помаленьку — и опять в люди выйдешь. Не будут знать, что довело тебя до нищеты, а ведь говорим же — бедность не порок. Я думаю, один способ тебе: сойтись с Калитиным, хоть бы, говорю, и половиною вотчины ему поступиться.

Чоглоков разразился воплями.

— О, какая ж ты баба,— насмешливо сказал думный дьяк.

— Отец родной, кормилец! — говорил Чоглоков, устыдившись своего малодушия и стараясь крепиться.— Поставь себя на моем месте,— ну, как бы у тебя все разом отнимали?

— Не зарекаюсь,— сказал думный дьяк.— Может быть, со мною когда-нибудь что и похуже станется. Мало ли случаев бывало: вот человек в почести и в богатстве, а тут распалится на него царь — и все прахом пошло. А и так бывает: вон при блаженной памяти царе Алексее Михайловиче божиим попущением поднялась в Москве междоусобная брань против боярина Морозова и Траханиотова; какие были богачи и силачи в земле нашей, а все пошло по ветру. Мудрее нас были отцы и деды наши и вымыслили такую пословицу: от сумы да от тюрьмы никто на Руси не зарекайся. И теперь то же умные головы твердят. И я не зарекаюсь, не знаю, что со мною вперед станется и где Господь и как велит голову положить! И ты тоже. Вспомни, как ты в Чернигове воеводствовал, мог ли тогда думать, что это воеводство тебе так солоно отзовется! Теперь терпи! Человек ты, кажись, книжен, про Лазаря и богача читывал. Хорошо было богачу на этом свете, да на том-то горячо пришлось; а бедному Лазарю куда как здесь худо было, да там стало прохладительно.

— Мое последнее добро! — печально восклицал Чоглоков.

— Тело дороже одежды, а душа дороже тела,— сказал Ларион Иванов.— Крепись, молись и во грехах своих кайся Богу. Вотчины жаль, да делать нечего, и с ней придется распрощаться! Вот мой совет.

Чоглоков ушел от думного дьяка в самом отчаянном расположении духа. И так и этак передумывал Чоглоков. И то и другое приходило ему в голову. "Уж не оставить ли все на волю божию? — задал он себе

вопрос, но тотчас сам себе и отвечал на него.— Невозможно! Пойдет патриарх печаловаться о бедной Ганне, а царь черкасский народ любит. Для примера, на страх другим, люто казнить велит, чтоб угодить черкасскому народу, и стану я притчею во языцех из рода в род. Меня в тартарары зашлют, а вотчину все-таки отберут на великого государя. Куда ни повернись — везде жжет огнем!"

Он отправился в Патриарший приказ и спрашивал, где живет дьяк Скворцов: с ним хотел он прежде поговорить, а к самому Калитину обратиться боялся,— такого он задал ему перцу своим приемом! В Приказе ему сказали, что Скворцов прибыл в Приказ, а Калитина еще нет. Он вошел к Скворцову, поклонился до земли, стал спрашивать, что ему делать и как расположить к себе Калитина, который так загрозил ему. Нельзя ли как-нибудь умилостивить его, чтоб он не доносил о нем святейшему и не направлял патриарха печаловать перед царем за Анну. К удивлению Чоглокова, Скворцов сразу намекнул ему на то, что говорил думный дьяк Ларион Иванов, именно на уступку Калитину остальной половины вотчины Пахровской, и тут же показал, что ему и Калитину известно уже, что другая половина отдана в Малороссийском приказе.

— Ведь и мы, патриаршие дьяки,— сказал Скворцов,— не хуже царских в Малороссийском приказе; чем там побил челом, тем и у нас побей! А оно точно: все на нем, на Калитине, висит; святейший очень его любит и во всем ему верит. Как дьяк Калитин доложит ему, так и останется!

Оставались еще сутки до рокового срока, данного ему Калитиным для обдумывания. Весь день ходил Чоглоков по своему двору и чувствовал, что последний день ходит по нем честным хозяином, владельцем вотчины, из которой привык получать в московский двор всякие запасы. Настал другой за тем день. Чоглоков приказал запрячь лошадей, сел в колымагу и мысленно говорил к своим лошадям: "Эх, вы, мои бедные, сердечные лошадушки! не придется вам более меня

возить, а мне на вас ездить; придется, может быть, пешком с мешком за милостынею ходить по Москве!"

Чоглоков в Патриаршем приказе застал дьяка Калитина вместе со Скворцовым, и подьячий Ермолай сидел за своим столиком у окна. Духовных особ еще не было.

— Надумался? — спросил сурово Калитин.

— Надумался, батюшка, отец-благодетель! — сказал Чоглоков и повалился к ногам дьяка.— Батюшка-кормилец! Бью тебе челом своею последнею вотчинишкою на реке Пахре. Соизволь принять?

— Что? — гневно сказал Калитин.— За кого ты меня приемлешь? Чтоб я правосудие продавал? Что я! Со Иудою-христопродавцем вровень стану, что ли? А видел ты, дурачина, что с тем Иудою сталось: как на западной стене, в церкви, написан ад кромешный, а там тот Иуда на коленах у сатаны сидит и мошну в руке держит с теми тридцатью сребрениками, что за Господа нашего от беззаконных архиереев жидовских взял? И мне того же хочешь? Ах, ты, дурачина, мужичина неотесанный! Видно, как сам управлял, воеводствуючи в Чернигове, грабил, обдирал жителей, так по себе и о всех других думаешь? Нет, нет! Не брал я ни с кого еще неправедно ни одной полушки. Что ты меня своею вотчиною манишь? Душу свою разве отдам за твою проклятую вотчину, подавиться бы и тебе ею! Не туда, брат, угодил. В других Приказах, может быть, берут посулы и’ поминки, а в нашем Патриаршем приказе о таковом беззаконии и помыслить не посмеют. А ты вот что, напиши челобитную святейшему патриарху Кир-Иоакиму, а в той челобитной пропиши все свои грехи тяжкие: как направедно в Чернигове людей обирал, как женок и девок на блудное дело подговаривал, как Анну приказал схватить и насильно отдал за своего холопа замужнюю женщину, все ради своего блудного сластолюбия, ничего не утай, ни в чем не солги, все открой перед святейшим патриархом, как перед самим Богом на исповеди, и сам себе в наказание отдай и свою вотчину на Пахре и свой двор на Арбате в

Москве, все, что имеешь, отдай во искупление грехов своих в волю святейшему патриарху, чтоб со всем сим поступил по своему мудрому рассмотрению на благо святой, соборной и апостольской церкви. Вот коли так учинишь — иное дело: святейший патриарх, видя твое нелицемерное раскаяние, укажет тебе какое-нибудь легкое церковное покаяние и простит тебя, не станет входить к великому государю с печалованием о женке Анне, но прикажет отослать ее к первому ее мужу.

— У меня ничего не останется! — сказал Чоглоков.— Как же мне тогда жить на свете? Чем питаться?

— Свет не без добрых людей,— сказал Калитин.— Пропитание тебе дадут. Сам святейший патриарх, чаю, изволит подать тебе святую Христову милостыню. Бесчестья на тебе не будет; что ты про себя напишешь в челобитной, то в тайне пребудет, все равно, как бы ты священнику рассказал на духу. Можешь опять поправиться и еще воеводою будешь и опять разживешься.

— Нельзя ли уж хоть двор-то мой на Москве оставить мне? — говорил Чоглоков.

— Ни, ни! — заговорил решительно Калитин.— Словом Господним скажу тебе: не изыдеши отсюду, дондеже воздаси последний кодрант. И двор, и все, что в доме есть, и всех холопей своих при дворе — все, все отдай! Не уподобись Анании и Сапфире, что вызвались с целым имуществом своим апостолам Христовым да утаили, не все отдали, а за это святой первоверховный Петр покарал их,— оба разом так тут же упали и дух испустили! И ты того же не покушайся чинить, что они. Вот видишь, с тебя нужно было бы взыскать денег, с чем отправить женку Анну домой в Чернигов и на проест ей дать, да уж это мы кое-как соберем с твоей вотчины сами.

— Берите! Что хотите — все берите! — сказал Чоглоков и разразился рыданием.

Калитин приказал Ермолаю писать челобитную, которую должен был подписать Чоглоков. Во все время писания челобитной Чоглоков сидел в углу; видно было, что он хотел пересилить себя, но никак не мог и беспрестанно всхлипывал. Между тем пришли духовные особы и расселись на своих местах. Когда челобитная была написана, Калитин, взявши ее от Ермолая, подозвал Чоглокова. В этой челобитной грешник сознавался и каялся во всех своих неправдах и выражался, что обо всем этом он открывает святейшему патриарху, как перед Богом на исповеди. Чоглоков дрожащею рукою подписал челобитную.

Тогда Калитин подошел к архимандриту и протопопу и объяснил, что Чоглоков подает челобитную святейшему и кается во всех своих грехах, как перед Богом на исповеди, а потому сия челобитная не может быть пришита к делам, но должна быть доставлена в руки патриарха запечатанною.

— Достойно, хорошо! Боже, благослови! — произнес архимандрит.

— Вот то-то,— сказал Калитин, обратившись к Чоглокову.— Вас всех, воевод, следовало бы учить так, как мы тебя научили. Да на несчастье твое ты один к нам попался. А то в других Приказах ваша братия из воды суха выходит. Ну, а вот как к нам кто из вас по церковному делу попадется, так мы раскопаем всю вашу яму, где скрыты ваши скверны!

Калитин после того отправился с докладом к патриарху, подал ему челобитную от Чоглокова и с своей стороны просил быть к нему милостивым, снисходя к искренности его раскаяния. Такое явление было не частое. Иоаким распечатал челобитную и, прочитавши, сказал:

— Это сын необычный! Аще он подал нам такую челобитную, в коей аки бы на исповеди вся своя тайная поведает, то и мы принимаем его

челобитную ако исповедь и не станем просить царя великого государя, чтобы вновь о нем разыскивал, и карать царским судом, хотя бы то и следовало по его гнусным деяниям. Церковную епитимью указываем ему такову: два лета не причащаться св[ятых] тайн и ходить ежедневно в церковь, по первое лето не входить в трапезу с верными, а стоять в притворе, и вздыхать к Богу, и о прощении своих грехов молить; по окончании же единого лета может входить и стоять в трапезе со всеми верными; по миновении же паки другого лета — дозволяется ему причащаться святых, страшных, бессмертных, животворящих Христовых тайн. Сие ему в приговоре вписать, но грехов тех, в коих он кается в своей челобитной, в приговор не вписывать, понеже он искренно и нелицемерно покаялся, как и дела его показали довольно. Вотчину же, что он отдал во искупление грехов своих в святую соборную и апостольскую церковь, мы указываем вписать в число наших патриарших вотчин, определенных для раздачи нашим служилым людям, а в числе наших домовых не вписывать, оттого что нам, духовным, запрещено уже давно приобретать себе новые вотчины, раздавать же служилым людям за их заслуги можно.

Патриарх взглянул в глаза Калитину, как будто с желанием произнести: не отдать ли ее тебе? Но Калитин стоял со смиренным видом, потупя глаза в землю и как будто ничего для себя не желая и вовсе о себе не думая. Патриарху, всегда к нему благоволившему, он особенно понравился в эту минуту.

— Мы тебя, Калитин, давно не жаловали,— сказал патриарх, погодивши с минуту и продолжая опять глядеть ему в лицо.

— Доволен зело милостями твоими, всечестный господине, святейший владыко! — сказал, кланяясь в пояс, Калитин.— По моим малым заслужишкам и по моему невеликому умишку, твоя святыня безмерне был всегда милосерд и ко мне и к семье моей, и ныне, как и всегда, я уповаю на твое благоутробие, как тебе Господь Бог известит и на сердце твое владычнее положит. Но дерзал бы я просить твое святейшество не о себе, а о товарище моем дьяке Скворцове. Его бы

некоторою, хотя невеликою, благостынею от твоего благоутробия, великий господине наш, святейший владыко, утешить.

— Доброе сердце у тебя, Иван,— сказал патриарх,— что ты не о себе, а о своем товарище просишь. Хорошо. Мы жалуем тебя, Ивана Калитина, в поместье тою вотчиною, что подарил нам в святую церковь сей Чоглоков, а Левонтию Скворцову будет тот двор его на Москве, что он дарит нам же разом с вотчиною.

Калитин упал к ногам патриарха, потом, приподнявшись и стоя на коленях, поцеловал его руку. Патриарх благословил его и продолжал:

— Архиепископу Лазарю Барановичу написать от нашего имени отческое и братственное внушение, чтоб он в своей епархии не позволял так поступать и не разрешал совершать браки в те дни, в которые пост установлен по правилам святой восточной католической церкви. От сего немало зла возникает, как тому пример и ныне видим. Лицемеры предлоги вымышляют: венчанье и брак не в брак считают, и блудные дела оттого починаются. Изложив сие все преосвященному Лазарю, увещевать его, чтоб он обычаев латинских не держался, хотя таковые и укоренились в тамошних людях через долговременное пребывание под иноверным господством; ему, яко пастырю доброму, а не наемнику, надлежит бдеть о словесных овцах своих и охранять их от влезания к ним душегубительного латинского волка. Жену оную Анну отправить к ее первому единозаконному мужу в супружеское сожитие; за вступление же незаконное в брак при живом муже никакого церковного наказания ей не чинить, понеже то сталось по конечной неволе.

— О священнике пахримском, что венчал незаконно Анну, что укажешь, всечестный господине, святый владыко? — произнес Калитин. — Позвать бы его, да на патриаршем дворе подержать в железах с месяц.

— Нет, мало,— сказал патриарх.— Хоть и господин той вотчины повелел ему, но он должен был помнить, что у него есть свой господин, архипастырь. Продержать его в железах в нашем погребе на хлебе, на воде да на квасе не месяц, а четыре месяца. Да и то пусть себе вменит в милость, что не велим его расстричь за такое богопротивное дело, снисходя к тому точию, что сие содеял он по малодушию и боязни. Жене же той, возвращая ее к мужу, выдать от нашего смирения Христову милостыню на дорогу пятьдесят рублев.

Пришедши из покоев патриарших в Приказ, Калитин говорил Скворцову:

— Слава тебе, Господи! Сталось все так, как лучше и хотеть не могли. Святейший пожаловал мне пахринскую вотчину чоглоковскую. Я и не просил его, а он сам без моего челобитья меня пожаловал! А я тогда говорю ему: много доволен, о себе не прошу, а вот если б милость была твоя, честнейший владыко, пожаловать бы изволил, как Бог тебя наставит, моего товарища Левонтия Скворцова,— а он на это: вот, говорит, хвалю за то, что просишь не о себе, а о другом. Даю ему, Скворцову, говорит, тот двор московский, что Чоглоков отдал. Вот, Левонтий Саввич, у тебя теперь свой дворик будет, свое гнездышко.

Скворцов, с выражениями радости, целовал Калитина и благодарил его, но втайне он не был доволен тем, что Калитин как будто забыл вовсе, что обещал было ему треть вотчины чоглоковской, если ему она достанется. Но заявлять об этом товарищу Скворцов не посмел: он был, что называется, человек смирный и потрухивал перед Калитиным.

— А все-таки досадно! — сказал Калитин.— Ларион Иванов подполовинил знатно животы бездельника, а нам только последушки остались!

XVII

Ганна, в продолжение производства дела в Патриаршем приказе, жила во дворе Калитина с прочею челядью в дворовой избе и исполняла свои обязанности: ходила за двумя коровами, доила их, ставила молоко на устой, подкладывала коровам корм, выметала хлевок, в котором они стояли; близ нее постоянно ходила девочка лет пятнадцати, которую госпожа готовила быть коровницею. Калитина удивилась, когда Ганна, по малороссийскому обычаю, принялась было доить коров, подпуская к ним телят, что в Москве не было в обычае. Ганна объяснила хозяйке, что через это телята будут лучше расти и набираться силы и будет из них крупный рабочий скот. Калитина до тех пор думала, что можно заботиться разве только о телушках, а не о быках, и пришла в изумление, когда услыхала, что в черкасской земле пашут землю быками. Ганна получала от хозяйки и другие поручения, исполняла все с радением, как умела, и Калитина была ею очень довольна.

Так прошли летние месяцы 1677 года. Во второй половине сентября этого года, воротившись по обычаю из Приказа домой, Калитин сообщил жене приятную для них обоих новость. Святейший патриарх изволил пожаловать их вотчиною из домовых патриарших вотчин, тою самою, что владел бездельник, обидевший женку-хохлачку, помещенную в их дворе, а самую женку велел отправить на ее родину к первому мужу.

Позвали Ганну.

— Доброго тебе здоровья, молодушка! — сказал ей Калитин.— Дело твое, слава Богу, покончил ось. Святейший патриарх указал считать упраздненным навеки твой насильный брак с чоглоковским холопом и отпустил тебя к твоему первому мужу, да еще святейший патриарх пожаловал, изволил приказать выдать тебе от него, святейшего, милостыни на дорогу пятьдесят рублев. Завтра позовут тебя в Приказ и там прочтут приговор.

Ганна бросилась целовать руки Калитину и Калитиной, благодарила за хлеб, за соль и просила прощения, если, быть может, не умела чем-

нибудь угодить им во время своего прожития. Калитина похвалила ее за усердие и желала ей благополучия.

— А ехать тебе одной с подводчиком будет, может быть, и скучно и непригоже,— сказал Калитин.— Ты бы сходила на Малороссийский двор и узнала там, не едет ли кто из ваших земляков в вашу сторону. И ты бы с ними съехала.

Ганна воспользовалась таким советом, но стала расспрашивать не о Малороссийском дворе, а о том, где теперь живет Дорошенко; она считала долгом поблагодарить его за то, что он первый принял в ней участие и помогал ей в ее крайности. Она узнала, что Дорошенко с Греческого двора переведен в свой собственный двор, пожалованный ему от царя.

Нашла она Дорошенко в его новоселье и была допущена к нему. Петро принял ее ласково, как старую знакомую, расспросил, как окончилось ее дело, и сказал:

— Тобі якраз можно їхать з нашими людьми, що до мене приїздили от брата Андрія і незабаром уїздять назад у Сосницю. Тільки я тобі, молодице, новину скажу, може, не дуже пріймовну. Авжеж, правди не сховаєш нігде. Чоловік твій Молявка, що сотникував у Сосниці, оженився з другою, з Бутримовою дочкою, дівкою. Отакий недобрий, не хотів підождать тебе!

Ганна сначала побледнела и минуты две-три стояла как вкопанная, потом разразилась горьким плачем.

Дорошенко сказал:

— Жаль тебе, молодице, далебі, дуже жаль! Одначе Господь заплатив твоєму невірнику. Катюзі по заслузі. Уже Молявка не сотник тепер. Ясновельможний змістив його і пожаловав сотництво братові

моєму Андрієві. А Молявка живе у тестя свого Бутрима і, кажуть, усе не ладить із своєю жінкою.

— Він проти мене ні в чім не винен,— сказала Ганна сквозь слезы.— Як-то було йому чекати мене, коли ніхто не знав, де я поділась, а до того, може, і написано було і йому було читано, що я повінчана з іншим у Московщині. Запевне так було. Бог з ним! Мабуть, така мені доля од Бога судилася!

— Авжеж так, правда, молодице! — сказал Дорошенко.— Бог чоловіка сотворив, Бог за чоловіком і чинить так, як волить. На мене поглянь, молодице: що я був колись і що став! Був я гетьман, володів Україною, з царями-королями водився, як з рівнею, а тепер — на чужій стороні в пониженню, в неволі... Да ще поздоров, Боже, великого государя милосердого: дав мені, бідному, прихилок і хліба кус, а там, на Україні, вся моя худоба знівечилась, і самий мій Чигирин запевне не устоїть і пропаде. А у тебе, молодице, є батько й мати?

— Є,— отвечала Ганна.— Або ліпше скажу: були, а тепер чи живі — не знаю!

— До їх їдь! — сказал Дорошенко.— Вже таки у свого роду легше тобі жити буде! Боже тебе благослови. На тобі, молодице, од мене на дорогу!

Дорошенко подарил ей несколько рублей. Ганна поцеловала ему руку.

Послушавши в Приказе указ о себе и получивши жалованные ей от патриарха пятьдесят рублей, Ганна простилась с Калитиным. Хозяйка подарила ей узел с бельем, летником и двумя поневами: то был ей знак хозяйской благодарности за непродолжительную, но исправную службу и милостыня на бедность от семьи Калитиных. Не жаль было им дать

эту милостыню! Они через Анну получили несравненно больше выгод, чем насколько теперь давали Анне.

Ганна прибыла с своим узелком в дом Дорошенка и оттуда выехала с его людьми, привозившими в Москву для Петра Дорошенка жизненные припасы и ворочавшимися к Андрею Дорошенку с разными сделанными в Москве закупками. Удаляясь из Москвы, Ганна мысленно послала проклятие злодею, испортившему ее молодую жизнь.

Следуя все дальше и дальше на юг, не узнала она, что проклятие бедной женщины постигло злодея скорее, чем можно было ждать. Ограбленный в Приказах до ниточки, выгнанный со двора, Чоглоков шатался по Москве, где день, где ночь, принялся с горя пить и пропивать небольшую сумму денег, уцелевших у него в кармане от погрома. Через месяц не хватило у него за что пить; одетый в лохмотья, в которые превратилось бывшее на нем одеяние, он слонялся около Петровского кружала, кланялся всем проходящим, вымаливал денежку на пропитание, или, вернее, на пропитие. Пришла зима, наступили морозы. У Чоглокова не было ни теплого помещения, ни теплой одежды: бесприютный, ночевал он то в кабаках, то на улицах под церковными зданиями, и однажды кто-то по христолюбию дал ему малую толику денег на пропитание. Чоглоков перед тем долго ничего не ел, и, как выпил водки, она его так разобрала, что едва он вышел из кружала, как упал, заснул на мерзлой земле и уж больше не проснулся. Его тело подобрано было поутру, отвезено в убогий дом и там свалено в общую могилу, в кучу с другими трупами опившихся, которых в Москве каждое утро собирали по улицам. Не помянули раба божия Тимофея по-христиански ни запискою его имени в синодик, ни подачею часточки за упокой души его те дьяки, которые владели ограбленными у него вотчинами: не имели они повода осведомляться о его судьбе и даже не узнали о его смерти.

XVIII

Дорошенко хорошо изучил и знал казацкую натуру: часто не бывает ей удержу, когда на глаза казаку попадается молодая, да еще красивая женщина. Людей, приезжавших из Сосницы, было четверо, на двух подводах. Все люди были уже немолодые, но Петро Дорошенко все-таки, не совсем полагаясь на их пожилой возраст, перед обратною отправкою призвал их всех и настрого приказал, чтобы они обращались с Ганною почтительно, как с честною чужою женою, не привязывались бы к ней ни с чем греховодным, и прибавил, что если они себя станут вести иначе, то брат его Андрей взмылит им спины канчуками. Это охранило Ганну на всю дорогу и от надоедливых любезностей и от лишней болтовни. Она обращалась с товарищами пути хотя не надувая губ, но не пускалась в продолжительные беседы, не скрывала от них того, что с нею происходило в Москве, когда ее о том спрашивали, но ограничивалась короткими ответами и старалась им дать заметить, что ей тем будет приятнее, чем меньше будут они толковать с ней. Зато они и оставляли ей много времени погружаться в свои думы, а думы у ней сменялись одна за другою. Ей, конечно, становилось легко на душе, как только приходила ей в голову мысль, что уже не увидит она более ни отвратительного Чоглокова, ни противного Васьки, против собственной воли принуждавшего ее считать его своим мужем; не увидит она более ни дьяков, ни приказных сторожей, ни вообще москалей, чужих для нее людей. Минутами величайшего наслаждения кажутся человеку те минуты, когда ему удается освободиться от бед и мучений, которые долго терпел без верной надежды от них избавиться. Но весть о новом браке ее мужа сразу отравила Ганне это счастие. Мимо собственной воли Ганны злоба прокрадывалась в ее добрую, кроткую душу. "Он не любил тебя,— зачем же сватался? — говорил внутри ее голос этой злобы.— Если б он в самом деле тебя любил, он бы не связался так скоро с иною женщиною. Он бы искал тебя и нашел бы твой след; он, как твой законный муж, узнал бы, в какой ты беде находишься в чужедальней стороне, и вытащил бы из беды свою подругу, хотя бы ему пришлось пробираться на край света до студеного моря!" Но потом и сердце и рассудок произносили над ее супругом иной приговор: "А может быть, он и искал своей жены, и, может быть, набрел на ее следы, да узнал, а не то — и выписку ему показали, что она за другим замужем

в далекой Московщине. А разве кто-нибудь мог ему тогда объяснить, как это сталось со мною, как я, повенчавшись с ним в Чернигове, да очутилась под Москвою и там поп насильно повенчал с москалем? И то надобно по правде судить: не он первый от живой жены женился, а я первая от живого мужа была повенчана! Он того не мог узнать, что это поневоле со мною приключилось! Что ж ему отыскивать меня, с кем-то другим в Московщине повенчанную? Экое добро я! Коли такая у него жена, что от него отступилась, так и он от нее отступился! И тяжело, ух, как тяжело ему, бедному, должно быть, было на душе, когда узнал он, что я чужая чья-то жена! Может быть, от такой тяготы да тоски он и задумал сам скорее жениться! Вот и теперь, как я вернусь в Чернигов, а он заподлинно узнает, что я ни в чем не виновата и из столицы меня послали к нему, моему законному мужу, так будет жалеть и сам себя станет клясть — зачем женился? Да и жену свою, может быть, еще возненавидит. Ах, не дай Бог, не дай того, пресвятая богородица! Нет, нет! Я не стану сама ему выставляться; пусть лучше не знает, где и что со мною деется! Пусть себе живет с тою, которую полюбил, и она пусть верно любит его. Дай Боже им счастия! А про меня пусть совсем забудет!"

Было осеннее время. Осень в тот год была довольно сухая и ясная, дожди падали не часто; дорога была гладкая, исключая низких мест. Ехалось и живее и скорее. Осень вообще в жизни поселян самое веселое время. Уберутся хлеба; хозяева устраивают братчины; раздаются повсюду песни; осенью же более всего бывает и свадеб. Проезжая через села, не в одном месте путники наши встречали пестрые кружки свадебных поездов, шедших или ехавших с песнями и гигиканьем, а кое-где еще и с музыкою, с сопелями, накрами и домрами. В первом малорусском селе, через которое они ехали, вступивши в пределы Гетманщины, увидала бедная женщина "дружек", которые, идя по улице с невестою, пели:

Молода Ганночка, що нахилиться,

Слізоньками умиється,

Що розігнеться,

Рукавцем утреться.

На Ганну эти встречи наводили грустные впечатления: припомнилась ей собственная свадьба, так странно затеянная, не вполне совершившаяся, так нежданно и ужасно прерванная и оставившая ей горькую долю умываться слезами, как пелось в услышанной песне.

Наконец они доехали до Сосницы.

Сосницкому сотнику Андрею Дорошенку подали от брата Петра письмо. Брат просил его оказать покровительство Ганне Молявчихе. Андрей тотчас велел позвать ее к себе. Первым делом его было спросить: довольна ли она людьми, провожавшими ее из Москвы; потом Андрей свел разговор на ее мужа, рассказал про его житье-бытье в Соснице до самого того времени, когда сосницкая громада отрешила его от сотничества и выбрала сотником его, Андрея Дорошенка.

— А Молявка десь повіявся до своїх Бутримів! — закончил свой рассказ Андрей Дорошенко.

Чрезвычайно досадно было Ганне слушать все это о ее муже, но ни в чем противоречить она и не смела и не могла. Андрей Дорошенко представлял Ганне, что ее Молявка — человек совсем дурной и жалеть об нем не стоит, когда он связался с другою женщиною, не дождавшись своей законной жены и не зная, где она и что с нею делается. Сидевший тут полковой писарь стал было доказывать, что архиепископ не по правде дозволил Молявке жениться вновь от живой жены, так как это по закону разрешается только в таком случае, когда бы жена находилась в безвестной отлучке семь лет; он советовал Ганне подать от своего имени иск. Но Ганна, до тех пор только слушавшая и сама ничего не говорившая, в первый раз открыла рот и произнесла, что

такой совет напрасен: не станет она принуждать мужа жить с собою, когда тот не захочет этого сам. Андрей Дорошенко согласился с Ганною, но прибавил, что не худо бы ей, однако, сходить к преосвященному и взять от него заранее законное свидетельство на право вступить вторично в супружество. Ганна на это ничего не сказала.

Андрей Дорошенко, вместе с женою, обласкал и угостил Ганну, как дорогую гостью, и на другое утро после того снарядил подводу и отправил на ней Ганну в Чернигов.

Приближался конец октября. Был день холодный, облачный, время от времени то проглядывало из облаков, то скрывалось за ними солнышко. В такой день подвода, отправленная с Ганною, въехала в Чернигов через стриженский мост и тотчас повернула вдоль берега Стрижня. Ганна проехала мимо бокового входа в тайник, куда в последний день своего пребывания в Чернигове пошла она с ведрами на свою погибель. Ганна невольно дрогнула. Через несколько минут подвода остановилась у Кусова двора. Ганна сошла с повозки, взяла с собою узелок и вошла во двор. Сердце у нее сильно билось, ноги подкашивались; ее волновала мысль: застанет ли она в живых своих дорогих и, конечно, изнывших в тоске за нею стариков. Первое существо, встретившее ее, была собака, которая на цепи по веревке бегала взад и вперед. Услышала собака скрип калитки в ворота, бросилась туда с лаем, но вдруг, узнавши сразу Ганну, принялась визжать и ползать, силясь приблизиться к знакомому лицу. Ганна подошла к ней и погладила ее. Повернувшись к хате, она тронула знакомую дверь и вошла в сени. И здесь никого она не встретила. Она творит крестное знамение, она лепечет молитву: "Господи Iiсусе Христе, помилуй нас!" Она берется за ручку двери, ведущей из сеней в светлицу. Рука ее дрожит, она долго не в силах отворить двери. Вдруг дверь отворяется изнутри. Перед Ганною стоит ее мать.

Обе в единый миг испустили пронзительные крики. Обе кинулись одна к другой на шею.

— Мамочко! — воскликнула Ганна.

— Доненько! — произнесла мать и начала обцеловывать дочь, прилегая головою то к тому, то к другому плечу ее. Отец что-то работал в саду; наймичка, все та же, которая жила у Кусов и прежде, услыхала радостные крики из своей рабочей хаты, прибежала в светлицу, увидевши Ганну, всплеснула руками и побежала куда-то. Она дала знать отцу; тот прибежал вместе с наймитом — тем самым, которого когда-то, в день бракосочетания Ганны, Кусиха хотела посылать за музыкою. Мать и дочь продолжали целоваться и обниматься; слышались только вздохи и короткие восклицания. Кус первый заговорил, обращая взоры к иконам:

— Господи милостивий! Як же ти зо мною, грішним, милосерд єси, що сподобив мене на схилку віку мого любу мою дитину побачити. Тепер, Господи, аще рачиш мене і до себе прийняти, нехай твоя воля стане! Бо вже на сім світі ліпшого мені нічого не зостанеться чекати. Як то чудно ти, праведний і милостивий Господи, нас і караєш і милуєш.

Он схватил Ганну за голову, целовал ее долго, прижимая к своей груди, и разливался слезами.

Подошла затем наймичка и наймит, целовались и здоровались с Ганной. Оба они привыкли к дому Кусов за многие годы, стали уже как бы членами их семьи и горячо принимали к сердцу судьбу своих хозяев. И они плакали, целуясь с нежданно явившеюся хозяйскою дочкою.

Утомленная от излияний любви, Ганна села на лавку. Кусиха, сама не зная зачем, пошла к шкафу и стала искать, сама не зная чего; это делалось по привычке малороссийской натуры: если ей на душе очень весело, то первое побуждение у ней является — поить и кормить все окружающее. По тому же народному побуждению наймичка пошла в чулан, взяла там складень с медом и внесла в светлицу, а потом

попросила у хозяйки: не даст ли ей ключей от погреба "наточить" наливки,— и Кусиха машинально отдала ей ключи.

— Дочко! Серденько! Розкажи, що з тобою діялось? Куди і як ти од нас пропала? Де була? Як жива зосталась і як до нас вернулась? Ох, Боже наш, Боже! Як же то ми з батьком помучилися за тобою, Ганно,— говорила Кусиха.

— Мамочко! Таточко! — произнесла Ганна.— Простіть мене, коли в чім я проти вас согрішила! Бо запевне грішниця я була велика, що Господь послав на мене таке лихо!

— Кажи, кажи! — повторили отец и мать. Наймичка и наймит, стоя поодаль, напрягли внимание.

Ганна начала повесть своих бед. Рассказ о бесстыдном и злодейском поступке воеводы произвел на сидевшего близ Ганны отца такое впечатление, что он вскочил с места, затрясся всем телом, лицо его побагровело; он ударил кулаком по столу, потом залился горючими слезами. Заволновалось в нем разом растерзанное чувство родителя и уязвленное достоинство человека. Успокоившись немного, он произнес:

— Бідна наша головонька! Нещаслива наших людей доленька!

Рассказ о том, как Ганну привезли в подмосковную вотчину и там насильно венчали с холопом, призвел опять взрыв негодования и бешенства у раздраженного отца.

— О, єретичі сини! Куди вони затягли нас, бідних! — воскликнул он, и нельзя было сразу понять, о ком говорит он.

Когда же, рассказывая все по порядку, дошла она до того, как, убежавши от Чоглокова, пришла она к Дорошенку и тот оказал к ней некоторое внимание, Кус сделал такое замечание:

— Єдине свій чоловік найшовся на чужій стороні при лихій годині! Сам нещасливий, а споглянув на чужу нещасливу долю. Дай, Боже, йому щастя-здоров’я! Якби його там не було, до кого б вона утекла, до кого б вона прихилилась між чужими людьми-ворогами!

Ганна все рассказала, что знала и слышала, как дьяки обобрали ее злодея Чоглокова.

— Тільки всього! — произнес отец.— Покарали ж!

— Мало йому буде — спалить його на вуглях або живцем шкуру з його злупить! Усе б ще не по заслузі йому було,— сказала Кусиха, находившаяся под влиянием рассказа Ганны в сильном озлоблении, хотя по своей природе вовсе не была способна делать чего-нибудь похожего на то, что говорила.

Ганна сказала, что перед отъездом ее из Москвы Дорошенко сообщил ей о новом браке с другого Молявки-Многопеняжного. При этом Ганна заплакала и закрыла лицо руками. Отец нахмурился и повесил голову. Кусиха начала укорять старую Молявчиху, говорила, что все это она так подстроила, научила своего сына оставить в беде и забыть свою пропавшую жену.

— Бог знає,— заметил Кус,— може, і не стара; може, сам молодий якось провідав, що його жінка з іншим повінчана. Аже ж: як би пак його з другою повінчали, коли б не знали певне, що перша його жінка сама вже повінчана з іншим?

— Я його не виновачу,— сказала Ганна.— Запевне, йому довели, як на долоні, що я з іншим повінчана, і він те ж ізробив. Чим він винен? Моя доля нещаслива винна.

И она снова разразилась рыданьями.

— Авжеж! — говорила раздраженная Кусиха.— Щоб його душа так пролилась уся, як отсе через його ллються сльози моєї дитини!

— Баба, як єсть баба! — сказал Кус.— Сама не знає, на кого сердиться. Правду повідать — чи винен він, чи ні, того не знаю, а коли винен, то все-таки менш од усіх!

— А хіба вона чим винна проти його! — сказала Кусиха.

— Тато правдивіший! — сказала Ганна.— Ні в чім, ні в чім він не винен. Дай, Боже, йому доброго здоров’я і щастя з іншою, аби тільки вона його щирим серцем так любила, як я. Не судив нам Бог укупі жити; а я йому не те що нічого злого не жадаю, а рада б ще хоч яке лихо перебути, аби йому добре було!

— Випила ти добрий ківш лиха, дочко! — сказала Кусиха.— Не дай, Боже, куштовать його за таке паскудне, що одвернулось од тебе і наплювало на тебе!

Кус сказал:

— Я бачу, сей молодець дуже задатний, зумів собі стежку протоптати. З простого рядовика — нашого брата — піднісся у панство, сотником зразу став! Да зась! Зазнавсь, мабуть, скоро. Скинули, кажуть.

— І я чула,— сказала Ганна,— скинули, і Дорошенків брат — сотником у Сосниці.

— Єму сількісь! З багатою панною оженився, з Бутримовною. Се люди багаті,— заметил Кус.

— Буває, тату, що з бідною приятнійше шматок житнього хліба гризти, ніж з багатою смачний обід обідати і дорогі напитки вживати. Минуй його, Боже, недобра доля! — сказала Ганна.

— Так як же се?—заметила Кусиха.— Ганна йому жінка була, а тепер уже що ж вона: не жінка йому стала, чи як?

— Я йому жінкою і зосталась,— сказала Ганна.— У мене лист єсть од патріарха з його Приказу даний: те вінчання, що на мене в Московщині силоміць наложили, не уважать за вінчання, а мене щитать за жінку Молявці-Многопіняжному. Так патріарх присудив.

— Отсе у Молявки дві жінки разом буде, чи що? — спрашивала Кусиха.— Сього по нашому хрещеному звичаю не можно. Яка-небудь да одна йому жінка повинна бути: або ти, обо та, друга!

— Або ні та, ні друга! — сказал Кус.— По моєму розгляду — так. Хоч не винен він, що з двома побрався, а вже як перша жінка знайшлась, так не треба завдавати жалю ні тій, ні другій, і не жити б йому ні з першою, ні з другою, а уйти у монастир Богові слуговати.

— А я ще раз кажу,— сказала Ганна,— нехай живе в щасті-здоров’ї з тією, котра його полюбила без мене. Ні в чім він проти мене не согрішив, ні я проти його. Я по вік свій турбовати його нічим не стану. Аже ж ви, тату і мамо, не проженете мене з своєї домівки! З вами укупі житиму, вам годитиму, вам слугуватиму, старощів ваших доглядатиму, за вас, тату і мамо, щодня й вечір, вставаючи і лягаючи, Бога благатиму. От так увесь вік свій коротатиму!

— Дитино люба,— сказала Кусиха,— ти ще молоденька! Може, Бог, коли милосердіє єго буде, нагородить тебе за все те лихо, що одбула єси неповинно. Може, Бог пошле тобі дружину!

— А як я маю з тією дружиною зійтися? — сказала Ганна.— Хіба я її шукатиму?

— Не ти, доню, її шукатимеш, а вона тебе знайде,— сказала Кусиха. — Ще ти хороша, доненько моя: хоч і спала з виду од того палючого лиха, а ще не зовсім зниділа.

— Не знаю,— сказала Ганна,— того, що буде попереду. Не знаю — і вигадувать про те не стану, і зарікатись не буду. Одно тільки знаю: не піду я ні за кого такого, що мене щиро не полюбить і котрого я сама не полюблю. Отсе я знаю. А що дальш зо мною станеться і яку Бог долю мені судить, про те не знаю і думать про те не хочу.

— Се розумне слово, дочко! — сказал Кус.— Не маємо про пришле гадати. Треба жить, як набіжить, та й годі. Слава милосердому Богові: ти у нас одна, а у нас худобонька, хвалить Бога, єсть: хоч ми не дуже багаті, а все-таки нужди не знаємо. Усе наше — твоє. Коли очі наші закриються, нікому ж воно все зостанеться, як тільки тобі.

После этого разговора начался семейный обед. Все подпили наливки. Кус вынул бульшую серебряную стопу, которая была подарена одним значным войсковым товарищем еще на свадьбе Куса с Кусихою. Наливши ее до верха смородиновкою, Кус поднял стопу вверх и произнес:

— Подай, Боже, доброго здоров’я і щасливого віку доживання славному тогобочному гетьманові Петрові Дорошенку за те, що нашу дитину ласкаво прийняв на чужій стороні між чужими лихими людьми, нашими ворогами! Аще же в чім согрішив перед Богом, пошли йому, Господи, час покаяття і прости його по великому твоєму милосердію!

Примечание. О дальнейшей судьбе возвращенной на родину Ганны Кусивны в деле об ней известий нет. Мы строго держались, в основных чертах, той фабулы, на какую случайно наткнулись, рассматривая акты, хранящиеся в московском архиве министерства юстиции. Мы дозволили себе в изложении вносить только подробности истории быта и нравов

описываемого времени на основании черт, рассеянных в различных источниках того века.